Часть вторая

Учебник-хрестоматия

ЛИТЕРАТУРА

9

класс

ДРОФА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Данный учебник-хрестоматия для учащихся 9 класса входит в линию учебников, созданных по единой программе (5—11 классы), составленной Т. Ф. Курдюмовой, и завершает этап литературного образования школьников. Авторы-составители обращают внимание учащихся на вершинные произведения русской литературы, обобщая приобретенный девятиклассниками читательский опыт и раскрывая перед ними новые горизонты познания.

К учебнику-хрестоматии выпущены методические рекомендации для учителя.

- Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия. В двух частях. Часть 2
  - Литература XIX века
    -
    - Николай Алексеевич Некрасов
      -
      - Родина
      - Тройка
      - Вчерашний день, часу в шестом…
      - Замолкни, Муза мести и печали!
    - Иван Сергеевич Тургенев
      -
      - Первая любовь. В сокращении
    - Лев Николаевич Толстой
      -
      - Юность. В сокращении
    - Антон Павлович Чехов
      -
      - Человек в футляре. В сокращении
    - Понятие о юморе и сатире
  - Литература XX века
    -
    - О русской литературе XX века
      -
      - Иван Алексеевич Бунин
        -
        - Слово
        - Русская сказка
        - Изгнание
        - Жизнь Арсеньева. В сокращении

- Книга первая
- Книга вторая
- Книга третья

- Максим Горький
  -
  - Мои университеты. В сокращении
- Александр Александрович Блок
  -
  - Девушка пела в церковном хоре…
  - Незнакомка
  - О доблестях, о подвигах, о славе…
  - О, я хочу безумно жить…
  - Россия
  - На железной дороге
- Анна Андреевна Ахматова
  -
  - Сжала руки под темной вуалью…
  - Песня последней встречи
  - Сероглазый король
  - Он любил три вещи на свете…
  - Уединение
  - Муза
  - Родная земля
- Сергей Александрович Есенин
  -
  - Гой ты, Русь, моя родная…
  - Я покинул родимый дом…
  - Не жалею, не зову, не плачу…
  - Отговорила роща золотая…
  - Низкий дом с голубыми ставнями…
  - Я иду долиной. На затылке кепи…
  - Спит ковыль. Равнина дорогая…
- Владимир Владимирович Маяковский
  -
  - Послушайте!
  - Скрипка и немножко нервно
  - Прозаседавшиеся
- Михаил Афанасьевич Булгаков
  -
  - Мертвые души. Комедия по поэме Н. В. Гоголя в четырех актах (двенадцать картин с прологом). В сокращении
    - Пролог

- Акт первый
- Акт второй
- Михаил Александрович Шолохов
  -
  - Судьба человека. В сокращении
- Александр Трифонович Твардовский
  -
  - Василий Теркин. Книга про бойца. В сокращении
- Александр Исаевич Солженицын
  -
  - Как жаль
- Русская литература 60–90-х годов XX века
  -
  - Василий Макарович Шукшин
    -
    - Ванька Тепляшин
  - Виктор Петрович Астафьев
    -
    - Царь-рыба. Повествование в рассказах. Фрагменты
  - Валентин Григорьевич Распутин
    -
    - Деньги для Марии. Фрагменты
  - Александр Валентинович Вампилов
    -
    - Старший сын. Фрагменты
      -
      - Действие первое
      - Действие второе
  - Булат Шалвович Окуджава
    - Мы романтики старой закалки…
    - Письмо к маме
    - Король
    - Песенка об Арбате
  - Евгений Александрович Евтушенко
    -
    - Людей неинтересных в мире нет…
    - Памяти Ахматовой. В сокращении
    - Злорадство
  - Андрей Андреевич Вознесенский
    -
    - Русские поэты
    - Реквием

        - Есть русская интеллигенция…
        - Для всех – вне звезд, вне митр, вне званий…
    - Подведем итоги
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7

Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия. В двух частях. Часть 2 (Под редакцией Т. Ф. Курдюмовой)

Литература XIX века

Н. А. Некрасов. И. С. Тургенев. Л. Н. Толстой. А. П. Чехов.

Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878)

Любимейший русский поэт. Представитель добрых начал в нашей поэзии.

Н. А. Добролюбов

Николай Алексеевич Некрасов родился в местечке Немирове Подольской губернии, в семье капитана, бригадного адъютанта Алексея Сергеевича Некрасова и его жены Елены Андреевны, урожденной Закревской. Мальчику не исполнилось и трех лет, когда отец вышел в отставку и поселился с семьей в своем родовом поместье – селе Грешневе Ярославской губернии. Здесь, на Волге, прошло детство поэта, полное оскорблений, обид и горя. Отец его, человек крутого нрава и деспотического характера, не щадил ни своих дворовых, крестьян, ни домочадцев. Особенно глубоко страдала горячо любимая мать поэта, женщина

большой души и высокой культуры. «Это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывающаяся рана эта и была источником всей его поэзии» (Ф. М. Достоевский).

Очень рано началась тяжелая борьба за право на самостоятельность. После пяти лет учения Некрасова в Ярославской гимназии отец решил отдать сына в военную школу – Дворянский полк. Но в Петербурге юноша, нарушив волю родителя, стал готовиться в университет. Разгневанный отец лишил его какой бы то ни было поддержки. Будущий великий поэт начал свою петербургскую жизнь без денег, без связей. В университет удалось поступить вольнослушателем, но было не до учения. Некрасов брался за любую работу, ютился в подвалах, углах… и писал.

В 1840 году ему удалось издать первую книгу стихов «Мечты и звуки». Название сборника довольно точно выражает суть включенных в него романтических стихов, далеких от жизни, написанных под влиянием разных поэтов. Книга вызвала несколько полуодобрительных рецензий в журналах и резко отрицательный отзыв Белинского. Сам Некрасов обошелся со сборником сурово: постарался скупить и уничтожить свое первое поэтическое детище. Поэт не принадлежал к тем, кто входил в литературу легко и сразу.

Начало 40-х годов для Некрасова – время тяжелого литературного труда: рецензии, фельетоны, комедии и заметки, сказки и водевили. Его талант крепнет, его имя понемногу становится известным в литературных кругах.

Становлению Некрасова как поэта очень способствовало знакомство с Белинским в 1843 году. «Моя встреча с Белинским была для меня спасением», – говорил сам поэт. Сколь многим Некрасов считал себя обязанным этому человеку, видно хотя бы из того, что он позднее постоянно обращался к образу великого критика: в поэмах «Белинский» и «Несчастные», в стихотворении «Памяти Белинского».

Борьба с жизнью и обстоятельствами способствовала становлению характера писателя. В середине 40-х годов Некрасов – уже издатель нескольких альманахов. С 1847 по 1866 год поэт издает и редактирует журнал «Современник», основанный А. С. Пушкиным, а с 1868 года и до последних дней – «Отечественные записки». В «Современнике» публиковались Тургенев и Гончаров, Толстой и Островский, Герцен и Григорович, ведущими критиками журнала являлись Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Немало критических статей написано и самим Некрасовым. Становление его поэтического дарования закончилось к середине 40-х годов.

Писатель И. И. Панаев пишет в своих литературных воспоминаниях: «Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Некрасов навсегда останется не более как полезным журнальным сотрудником, но когда тот прочел ему свое стихотворение „На дороге“, у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах: „Да знаете ли вы, что вы поэт – и поэт истинный“».

В 1856 году после семнадцати лет напряженной работы вышла вторая книга стихотворений Некрасова. Характер книги как целого определялся вступлением, роль которого сыграло стихотворение «Поэт и гражданин». Чернышевский писал Некрасову: «Вы теперь лучшая, можно сказать, единственная прекрасная надежда нашей литературы… Ваши силы огромны».

Сборник 1856 года вышел в то время, когда в стране наступал новый общественный подъем. Одни ждали реформ, другие надеялись на революцию. В связи с этим особенно остро вставал вопрос о народе, его месте, значении, о сути народной жизни.

Особое место в лирике Некрасова занимает образ русской женщины. Даже классический образ Музы под пером Некрасова терял привычную символику, обретая реальные женские черты. Русская женщина является героиней многих стихотворений и поэм Некрасова, таких как «Мороз, Красный нос» – о судьбе русской крестьянки и «Русские женщины» – о подвиге жен декабристов.

Немало стихотворений поэта посвящено детям. Обращение к миру детства очищало душу от горьких впечатлений действительности.

Вершиной эпического творчества Некрасова явилась поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Родина

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,

Так рано отлетел покой благословенный,
И неребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег…
Воспоминания дней юности – известных
Под громким именем роскошных и чудесных, —
Наполнив грудь мою и злобой, и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной…
Вот темный, темный сад… Чей лик в аллее дальной
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил… о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы…
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И все, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!..

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе, и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила…
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Вот серый, старый дом… Теперь он пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни га́еров, ни слуг, —
А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,
Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.
Я к няне убегал… Ах, няня! сколько раз
Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;
При имени ее впадая в умиленье,
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..

Ее бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой…
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,

Отрадного душе воспоминанья нет;
Но все, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым —
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада, —
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил…

Тройка

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Все лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна, и легка…
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни – появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…

Вчерашний день, часу в шестом…

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,

Лишь бич свистал, играя…
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Замолкни, Муза мести и печали!

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали.
Один я умираю – и молчу.

К чему хандрить, оплакивать потери?
Когда б хоть легче было от того!
Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.

Всему конец. Ненастьем и грозою
Мой темный путь недаром омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу теплого луча…

Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя – во сне и наяву,
В труде, в борьбе, на рубеже паденья
Я звал тебя, – теперь уж не зову!

Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить…
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

Вопросы и задания

▸1. Какой теме посвящено стихотворение «Тройка»? С каким чувством поэт рассказывает о судьбе женщины?

▸▸1. Почему стихотворение «Тройка» называют «песней-романсом»?

2. Прочитайте стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Замолкни, Муза мести и печали!..». Какой образ Музы возникает в лирике Некрасова?

▸▸▸1. Ф. М. Достоевский отмечал, что «в поэзии нашей

Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим „новым словом“. В этом смысле он… должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым». В чем, на ваш взгляд, заключалось «новое слово» Некрасова?

2. Какие новые темы зазвучали в творчестве поэта?

3. Какие новые герои введены в литературу Некрасовым?

4. К. Чуковский писал: «Природа никогда не существовала для Некрасова сама по себе, безотносительно к человеческим скорбям или радостям… Пейзаж, как всегда у Некрасова, дан в сочетании с людьми». Покажите это на примере стихотворений Некрасова.

5. «После Пушкина и Лермонтова, – отмечал Бунин, – Некрасов не пошел за ними, а создал свою собственную поэзию, свои ритмы, свои созвучия, свой тон…» Подтвердите это высказывание примерами из текстов стихотворений.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

И. С. Тургенев

С именем Тургенева для русского читателя любого возраста связано представление о классически совершенном языке, о стиле, который принято считать образцовым. Его мастерство сказывается не только в том, что он владеет безукоризненным слогом, но и в том, что он умел быть лаконичным, четким и ясным, умел сочувственно изобразить горе и радость.

Что же сформировало человека такой душевной отзывчивости?

Иван Сергеевич Тургенев родился в одной из самых богатых на литературные таланты областей России. Спасское-Лутовиново – старинное барское имение в пятидесяти километрах от Орла. Это одно из самых красивых и поэтических мест России.

«Свой оркестр, свои певчие, свой театр с крепостными актерами, – все было в вековом Спасском», – пишет современница. Быт был строго регламентирован. Мать Тургенева Варвара Петровна (прототип барыни из рассказа «Муму») «старалась подражать коронованным особам; крепостные люди ее, исполнявшие ту или другую обязанность при ней, назывались не только придворными званьями, но даже фамилиями тех министров, которые занимали соответствующие должности при высочайшем дворе; так, например, дворецкий звался министром двора, и ему была придана фамилия тогдашнего шефа жандармов, генерала Бенкендорфа…».

Сам Тургенев рассказывал одному из знакомых: «Моя матушка была страстная любительница цветов – я нигде не видел таких тюльпанов, как у нее. Но все это цветоводство сопровождалось самой ужасной жестокостью к садовникам. Их

секли за все и про все. Конюшня была близка – я все слышал. Как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан. После этого всех садовников пересекли». Будущий писатель рос с сознанием протеста против всякой несправедливости, с сознанием необходимости человеческих отношений между людьми.

Тургенев не был идеальным человеком: в молодости ему очень хотелось производить впечатление богатого дворянина, он любил модно одеваться, любил подшутить над друзьями, при этом не всегда безобидно, и все же это был на редкость мягкий и доброжелательный человек. Умная и наблюдательная мать пользовалась этим свойством сына, которого по-своему, эгоистично, любила и, стремясь добиться подчинения, постоянно угнетала.

Возвратившись на родину после обучения в Германии, Тургенев решил посвятить себя литературе, для этого ему требовалась материальная поддержка матери. Варвара Петровна, хотя и не отрицала увлечения сына, но занятия литературой как профессией признать не могла. Отношения матери и сына кончились разрывом.

«Он умел мастерски скрывать свое положение, и никому в голову не могла прийти мысль, что по временам он нуждался в куске хлеба», – пишет один из близких друзей Тургенева, П. Анненков.

Человечность Тургенева ярко проявилась после смерти Гоголя. Несмотря на запреты, Иван Сергеевич написал некролог и был посажен под арест. Там, на Сенной площади, был написан рассказ «Муму».

История его творчества охватывает несколько десятилетий. Вершиной считают 1854–1866 годы. Это время создания романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» и повестей «Фауст», «Ася», «Первая любовь».

Творческая лаборатория Тургенева очень разнообразна и отражает его внимание к каждому слову и фразе. Об этом красноречиво говорит сам факт существования знаменитого портфеля эскизов, в который он долгие годы складывал самые различные словесные находки, не забывая и о фрагментах собственных писем. Клочки бумаги с различными записями не лежали там без движения – время от времени они включались в текст какого-то художественного произведения. Вот убедительный пример: абзац из письма, которое пролежало в его портфеле довольно долго, вошел практически целиком в текст романа «Отцы и дети»: Павел Петрович – «…одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда

молодость прошла, а старость еще не настала».

Для того чтобы в вашей памяти создался сколько-нибудь завершенный облик писателя даже после такого краткого очерка, вспомним один из драматических и трогательных эпизодов его биографии. На смертном одре Тургенев послал Льву Толстому последнюю просьбу: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе!» Он написал это прощальное письмо, потому что было велико его чувство ответственности перед родной литературой и культурой.

В последние годы жизни Тургенев подарил своим читателям «Стихотворения в прозе». Самое знаменитое из них – «Русский язык». Слова из этого стихотворения вынесены в эпиграф нашего краткого очерка о писателе и его творчестве.

Тургенев умер под Парижем в Буживале. 9 октября 1883 года прах писателя прибыл в Петербург. Вокруг Волкова кладбища были расположены казачьи сотни, в похоронной процессии находились агенты охранки. Кладбище было наводнено полицейскими: правительство боялось беспорядков – Тургенев был вновь любимцем молодежи.

Вопросы и задания

1. Какие черты Тургенева-человека вам запомнились? Каким вам представлялся писатель, когда вы впервые прочли его рассказ «Муму» или другие произведения? Что изменилось сейчас в этом представлении?

2. Один журналист написал, что, по его мнению, судьбу писателя у читателей определяет та «толпа героев», которая сошла со страниц его произведений и живет в их памяти. Кого вы могли бы вспомнить, чтобы создать «толпу героев» Тургенева?

3. В биографиях Тургенева очень часто используется итинерарий (указатель мест, которые посетил писатель). Как вы думаете, что дает читателю знакомство с итинерарием Тургенева? Вспомните, у кого из русских писателей были самые богатые итинерарии.

Первая любовь. *В сокращении*

Посвящено П. В. Анненкову

I

Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.

Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь. <…>

II

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад. <…>

В нескольких шагах от меня – на поляне, между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. <…>

III

«Как бы с ними познакомиться?» – было первою моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чаю я прошелся несколько раз по улице перед дачей – и издали заглядывал в окна… Мне почудилось за занавеской ее лицо, и я с испугом поскорее удалился. «Однако надо же познакомиться, – думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным, – но как? Вот в чем вопрос». Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною… Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне. <…>

IV

В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным, медного цвета, лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. <…>

В это мгновенье другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.

– А вот и дочь моя, – промолвила княгиня, указав на нее локтем. – Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?

– Владимиром, – отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения.

– А по батюшке?

– Петровичем.

– Да! У меня был полицмейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.

Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка шурясь и склонив голову немного набок. <…>

– Что вы подумали обо мне вчера, мсьё Вольдемар? – спросила она погодя немного. – Вы, наверно, осудили меня?

– Я… княжна… я ничего не думал… как я могу… – отвечал я с смущением.

– Послушайте, – возразила она. – Вы меня еще не знаете: я престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить

правду… и слушаться меня, – прибавила она. – Глядите на меня – отчего вы на меня не глядите?

Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.

– Глядите на меня, – промолвила она, ласково понижая голос, – мне это не неприятно… Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? – прибавила она лукаво.

– Княжна… – начал было я.

– Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей (она поправилась) – у молодых людей – не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?

Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил:

– Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать. <…>

VI

Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. <…> Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстух.

– Это зачем? – спросила матушка. – Ты еще не студент, и Бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!

– Гости будут, – прошептал я почти с отчаянием.

– Вот вздор! какие это гости!

Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстуха не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда… <…> Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке. <…>

На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться… Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:

– Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно. <…>

Я только развел руками – но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.

VII

Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик-слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:

– Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет, – и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. – Пойдемте же, – сказала она, – что вы стоите? Messieurs[1], позвольте вас познакомить: это мсьё Вольдемар, сын нашего соседа. А это, – прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, – граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.

– Граф! – продолжала Зинаида, – напишите мсьё Вольдемару билет.

– Это несправедливо, – возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. – Они не играли с нами в фанты.

– Несправедливо, – повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.

– Пишите билет, говорят вам, – повторила княжна. – Это что за бунт? Мсьё Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.

Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо

в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.

– По крайней мере позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело, – начал насмешливым голосом Лушин, – а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?

Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись – и я за другими.

– Майданов, – сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами, – вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсьё Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.

Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет… Господи! что сталось со мною, когда я увидал на нем слово: поцелуй!

– Поцелуй! – вскрикнул я невольно.

– Браво! он выиграл, – подхватила княжна. – Как я рада! – Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. – А вы рады? – спросила она меня.

– Я?.. – пролепетал я.

– Продайте мне свой билет, – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. – Я вам сто рублей дам.

Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!

– Но, – продолжал он, – я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсьё Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба – и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.

– Добре! – закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась, Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне,

уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком: я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и наконец шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, – мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!

Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу… Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый… Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.

Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка – никакие крики ее не смущали, – однако

и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.

Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!

Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, – и погасил свечку. Но я не разделся и не лег.

Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко… Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренно холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке – плыло и не проплывало; губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно… как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен…

Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», – подумал я, – и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до

утра… Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, воробьиная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке… Я глядел – и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня…

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину… но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как пролетевший лебедь – от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием…

О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, – где вы, где вы?

VIII

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня – меньше, однако, чем я ожидал – и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

– Все-таки они люди не comme il faut, – заметила матушка, – и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец – и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною… Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, боже мой, как бы я странно к нему

привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась – я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником… Потом он так же внезапно покидал меня – и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал… Но и веселость его и нежность исчезали без следа – и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо… сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему… он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке – и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни», – сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

– Свобода, – повторил он, – а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

– Что?

– Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть – и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить – и жил… Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже

выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок – и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

– Я с тобой поеду, папаша? – спросил я его.

– Нет, – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. – Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами – он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

– С удовольствием, – отвечал я и присел на кончик стула.

– Только смотрите покрупнее буквы ставьте, – промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, – да нельзя ли сегодня, батюшка?

– Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстии показалось лицо Зинаиды – бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

– Зина, а Зина! – проговорила старуха.

Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

IX

Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствие Зинаиды: ничего мне на ум не шло, все из рук валилось, я по целым дням напряженно думал о ней… Я изнывал… но в ее присутствии мне не становилось легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я

глупо дулся и глупо раболепствовал – и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней, и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого – а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума – и она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей друг о друга) – а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, – насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам.

Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», – охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он все предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, и себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знал ее лучше всех – и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему – и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура, – сказала она ему однажды в моем присутствии, – а, хорошо! Так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек,

извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться… и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам…

Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, все, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружавшими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится – придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, – она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! – и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, – а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улыбается и качает головой.

– Что вам за охота принимать господина Малевского? – спросил я ее однажды.

– А у него такие прекрасные усики, – отвечала она. – Да это не по вашей части.

– Вы не думаете ли, что я его люблю, – сказала она мне в другой раз. – Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил… Да я на такого не наткнусь, бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!

– Стало быть, вы никогда не полюбите?

– А вас-то? Разве я вас не люблю? – сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.

Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трех недель я ее видел каждый день – и чего, чего она со мной не выделывала! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну, – и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, а с ней говорил мало,

но как-то особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать – я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда… но это было невозможно; матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходившей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запыленной крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распустив хвостик; все еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушке березы; солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый – а я сидел, глядел, слушал и наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было все: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило, или бы назвал это все одним именем – именем Зинаиды.

А Зинаида все играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной – и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала – и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее.

Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мною, я совсем заробел и, трусливо забегая к ним во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то что она очень бранилась и кричала именно в это время: ее вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным.

Однажды я проходил в саду мимо известного забора – и увидел Зинаиду: подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте: я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:

– Что с вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее

и бросила ее прочь, подальше.

– Вы меня очень любите? – спросила она наконец. – Да?

Я ничего не отвечал – да и зачем мне было отвечать?

– Да, – повторила она, по-прежнему глядя на меня. – Это так. Такие же глаза, – прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. – Все мне опротивело, – прошептала она, – ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить… И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тяжело… Боже мой, как тяжело!

– Отчего? – спросил я робко.

Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновенье я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее – и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестел в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби – и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо – а мне было так грустно…

– Прочтите мне какие-нибудь стихи, – промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. – Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва.

Я сел и прочел «На холмах Грузии».

– «Что не любить оно не может», – повторила Зинаида. – Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду… Что не любить оно не может – и хотело бы, да не может! – Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. – Пойдемте. У мамаши сидит Майданов; он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь… что делать! Вы когда-нибудь узнаете… только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов.

Иль, может быть, соперник тайный
Тебя нежданно покорил? —

воскликнул вдруг в нос Майданов – и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновенье мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!» <…>

XII

Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась… все лицо ее было облито слезами.

– А! вы! – сказала она с жестокой усмешкой. – Подите-ка сюда.

Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.

– Больно… – проговорил я наконец.

– А! больно! а мне не больно? не больно? – повторила она.

– Ай! – вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. – Что это я сделала? Бедный мсьё Вольдемар!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.

– Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, – сказала она, а у самой на глазах все блестели слезы. – Это вас, быть может, утешит немного… а теперь прощайте.

Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом: она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался – и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того; помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была une femme capable de tout[2].

Я подошел к ней к ручке (это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку; я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я все-таки был ребенком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился все

грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана; да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко, – и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон… Вдруг что-то пробежало по мне – ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости… Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

– Что это вы делаете там, на такой вышине? – спросила она меня с какой-то странной улыбкой. – Вот, – продолжала она, – вы все уверяете, что вы меня любите, – спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновенье лишился сознанья. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

– Милый мой мальчик, – говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность, – как мог ты это сделать, как мог ты послушаться… Ведь я люблю тебя… встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей головы, и вдруг – что сталось со мной тогда! – ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями… они коснулись моих губ… Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, – и, быстро приподнявшись, промолвила:

– Ну вставайте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?

Я поднялся.

– Подайте мне мой зонтик, – сказала Зинаида, – вишь, я его куда бросила; да не смотрите на меня так… что за глупости? Вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня… Да он ничего не понимает, не отвечает, – прибавила она, словно про себя. – Ступайте домой, мсье Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной – а то я рассержусь, и уже больше никогда…

Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу… ноги меня не держали. Крапива обожгла мне

руки, спина ныла, и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось наконец восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я был еще ребенок. <…>

XV

В течение следующих пяти, шести дней я почти не видел Зинаиды: она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на свое дежурство – всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный; на тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным стараньем подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность: ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами – и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго; я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по Нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов и вдруг, как говорится, ни к селу ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко – для иных».

– Что вы хотите этим сказать? – спросил я.

– Вам я ничего не хочу сказать, – отрывисто возразил Лушин.

Меня Зинаида избегала: мое появление – я не мог этого не заметить – производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня… невольно; вот что было горько, вот что меня сокрушало! Но делать было нечего – и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное; ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена в один теплый, тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины; я любил это местечко: оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел; над моей

головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка; серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно – и ждал, не отворится ли оно: точно – оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье – и сама она, ее лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки, крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу – и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и, с какой-то решительностью кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.

Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила.

– Дайте мне руку, – сказала она мне с прежней лаской, – мы давно с вами не болтали.

Я взглянул на нее: глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

– Вы все еще нездоровы? – спросил я ее.

– Нет, теперь все прошло, – отвечала она и сорвала небольшую красную розу. – Я немножко устала, но и это пройдет.

– И вы опять будете такая же, как прежде? – спросил я.

Зинаида поднесла розу к лицу – и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки.

– Разве я изменилась? – спросила она меня.

– Да, изменились, – ответил я вполголоса.

– Я с вами была холодна – я знаю, – начала Зинаида, – но вы не должны были обращать на это внимания… Я не могла иначе… Ну, да что об этом говорить!

– Вы не хотите, чтоб я любил вас, вот что! – воскликнул я мрачно, с невольным порывом.

– Нет, любите меня – но не так, как прежде.

– Как же?

– Будемте друзьями – вот как! – Зинаида дала мне понюхать розу. – Послушайте, ведь я гораздо старше вас – и я могла бы быть вашей тетушкой, право; ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы…

– Я для вас ребенок, – перебил я ее.

– Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства, – прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки, – знак нашей

к вам милости.

– Я от вас прежде получал другие милости, – пробормотал я.

– А! – промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. – Какая у него память! Что ж! я и теперь готова…

И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй.

Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж», – пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею – и все недоумевал. «Неужели, – думал я, – эта кроткая, рассудительная девушка – та самая Зинаида, которую я знал?» И походка ее мне казалась тише – вся ее фигура величественнее и стройней…

И Боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь! <…>

Вопросы и задания

▶1. Сюжет повести определен ее названием. Найдите все этапы композиции этого произведения: экспозицию, завязку, кульминацию, развязку и эпилог. Как каждая из этих составных частей общей структуры «работает» на то, чтобы читатель с вниманием и интересом читал повесть?

▶▶1. В процессе работы над повестью автор особенно тщательно отрабатывал варианты портрета Зинаиды. Даже цвет глаз ее менялся несколько раз: сначала это были «прекрасные глаза», потом «глубокие темно-серые глаза», затем «ласковые чудесные глаза», «светлые живые глаза», и, наконец, «светлые глаза». Попробуйте обосновать этот окончательный вариант Тургенева.

2. Какую роль в повести играют описания снов? Вспомните хотя бы один из них и определите его роль в композиции произведения.

3. Тургенев – признанный мастер пейзажа. Найдите в повести те пейзажные описания, которые, по вашему мнению, точнее всего раскрывают чувства героев, действуют на эмоциональную тональность событий.

4. В сне Зинаиды описывался прекрасный сад и не менее прекрасный фонтан, у которого должна была появиться героиня. В этот момент в чувствах Владимира происходит весьма стремительный рывок от восторга к прозаическому поступку: «Сад… Фонтан… – подумал я. – Пойду-ка я в сад». Как можно объяснить это сопоставление?

▶▶▶1. Тургенев говорил, как свидетельствуют современники,

что «это единственная вещь… которая мне самому до сих пор доставляет удовольствие, потому что это сама жизнь, это не сочинено… „Первая любовь“ – это пережито». Могут ли эти слова Тургенева убедить нас в том, что «Первая любовь» – автобиографическая повесть?

2. Помогло ли вам раздумье над текстом «Первой любви» понять, почему Тургенев считал это произведением своим любимым?

Лев Николаевич Толстой (1828–1910)

Я был бы несчастнейшим из людей, ежели бы не нашел цели для моей жизни – цели общей и полезной…

Л. Н. Толстой

Лев Толстой вырос в богатой и знатной семье, но главное достоинство этой семьи было не столько в воспоминаниях о славных делах предков, сколько в доброжелательной атмосфере, которая жила в этом дворянском доме. Раннее детство для Толстого – это тот период, «в котором все освещено таким милым утренним светом, в котором все хороши, всех любишь, потому что сам хорош и тебя любят».

Заглянув хотя бы на минуту в мир этого «золотого детства» (это выражение принадлежит Льву Николаевичу), мы убеждаемся в том, что Толстой стремится жить, честно оценивая себя и свои поступки. Он всю жизнь заботливо сохраняет в памяти сердца все, что «видел, слышал и чувствовал», было ли это наблюдение крохотного мальчика за жатвой в жаркий летний день или размышления подростка о событиях собственной жизни. Дневники писателя, которые он вел всю жизнь, – свидетельство этому.

Посмотрите на списки книг, которые приводит в своем дневнике читатель Лев Толстой, оценивая их роль в своей духовной жизни. При этом он так оформляет свои записи: после общего заголовка: «Произведения, имевшие влияние на Л. Н.», идут такие разделы: «Детство до 14-ти лет или около того», «С 14-ти лет до 20-ти», «С 20-ти до 35-ти лет», «С 35-ти до 50-ти лет». Список этот он составил в 1891 году. Вот что содержат записи о читательских впечатлениях в возрасте от 14 до 20 лет:

Евангелие Матфея. Нагорная проповедь	огромное
Стерн. Сентиментальное путешествие	очень большое
Руссо. Исповедь	огромное
Эмиль	огромное
Новая Элоиза	оч. большое
Пушкина. Евгений Онегин	оч. большое
Шиллера. Разбойники	оч. большое
Гоголь. Сначала написано: все произведения, кроме Тараса Бульбы, а потом это зачеркнуто и написано:	
Гоголя. Шинель, Иван Ив. и Ив. Ник.	
Невский проспект	большое
Вий	огромное
Мертвые души	оч. большое
Тургенева. Записки охотника	оч. большое
Полинька Сакс. **Дружинина**	оч. большое
Григоровича. Антон Горемыка	оч. большое
Лермонтова. Герой нашего времени. Тамань	оч. большое
Прескотта. Завоевание Мексики	большое

Позже Толстой вновь возвращался к вопросам своих читательских впечатлений, и, можно сказать, что эти первоначальные оценки сохранились достаточно прочно. Так, в 1856 году он «с наслаждением», как записывает в дневнике, перечитал «Мертвые души», причем нашел в этом произведении «много своих мыслей». Чтение же «Илиады» и «Одиссеи» записано как чтение на русском языке и позже на греческом языке, специально изученном уже стареющим Толстым.

Память о собственной юности была так отчетлива в сознании Толстого, что и в конце жизни он возвращается к мыслям об этом возрасте и создает обращение к юношам и девушкам, которое называет: «Верьте себе». Он писал в нем: «Помню, как я, когда мне было 15 лет… вдруг пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до сих пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому выбирать путь…».

Юношей Лев Толстой поступил в Казанский университет, но не был прилежен и ушел из его стен, не окончив образования. Однако и в эти сложные годы поиски молодого Толстого

поражают своим многообразием. Планы и «правила жизни» меняются, и при этом они очень интенсивно реализуются в жизненной практике.

Вот что он хотел сделать за два года после того, как оставил университет:

1) Изучить весь курс юридических наук…

2) …практическую медицину и часть теоретической…

3) …языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский…

4) Сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое…

Пунктов было еще много. Можно только удивляться, как ему удалось выполнить хотя бы часть своих необъятных планов.

Жизнь в Ясной Поляне не удовлетворяла Толстого. Он отправляется к брату, который служит в действующей армии. На Кавказе Лев Толстой участвует в походах и, решив стать офицером, сдает экзамены (арифметика, алгебра, геометрия, история, география, иностранные языки) на звание юнкера.

С 14 января 1852 года Лев Толстой участвует в боевых действиях как офицер и «собой доволен»: желание прославиться сменяется стремлением «принимать большое влияние в счастии и пользе людей».

В эти месяцы началась серьезная писательская работа – 4 июля 1852 года четвертый вариант рукописи «Детства» отправлен в журнал «Современник» для публикации.

В эти же годы Толстой создает «Севастопольские рассказы», в которых война впервые в русской литературе предстала перед читателем «в крови, в страданиях, в смерти». Три рассказа – «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года» пользовались огромной популярностью, хотя судьба у них была вовсе не одинакова. Если первый рассказ вызвал одобрение даже у императора, то «Севастополь в августе 1855 года» появился под измененным заглавием («Весенняя ночь») с многочисленными цензурными купюрами.

Севастополь пал в августе 1855 года. Завершилась и военная служба Толстого. На Кавказ уезжал безвестный юноша, из Севастополя вернулся офицер, уже заявивший о себе как яркий и необычный писатель. Толстой вошел в литературу сразу как настоящий мастер без какого бы то ни было периода ученичества.

Он вернулся в столицу, был радостно принят и признан в кругу известных писателей: И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, А. Н. Островского и др.

Но жизнь в столице не дает сосредоточиться, и писатель

уезжает в свое родовое имение Ясную Поляну, где пройдет большая часть жизни Льва Толстого. Именно там будет дописана автобиографическая трилогия, повесть «Юность» опубликована в журнале «Современник» за 1857 год. Она завершила автобиографическую трилогию. И, хотя Толстой хотел продолжить рассказ о жизни Николеньки Иртеньева, обещанная им вторая часть «Юности» так и не была написана. Вместо задуманного романа «Четыре эпохи развития» появились три повести: «Детство», «Отрочество», «Юность».

Последнюю часть трилогии Толстой судил особенно строго. Перечитывая третью редакцию повести «Юность», он на отдельном листе ставит оценки каждой из глав: «Хорошо», «Не совсем ловко», «Так себе», «Славно», «Порядочно, содержания мало», «Не интересно», «Не дурно, но нечетко», «Пусто, но ничего», «Вяло и по языку слабо», «Нескладно, но не дурно».

В этих оценках звучит не только требовательность молодого писателя к тексту своего произведения: в них заложены определенные эстетические принципы. Например, реплика: «Рассуждения, а не художественно» дает право увидеть его требовательность к эстетической стороне художественного текста.

Мир, созданный Львом Николаевичем Толстым в своих произведениях, неисчерпаемо богат. Он прозорливо оценивает жизнь вокруг себя, ощущает и понимает ее в десятки раз точнее и тоньше, чем это делает каждый из нас.

Вопросы и задания

1. Каким вы представляете себе Льва Толстого? Что кажется вам самым главным в его отношении к себе и к окружающим людям?

2. Как вы оцениваете Льва Толстого как читателя, поскольку вам знакомы списки прочитанных и высоко оцененных им произведений? Как вам кажется, стал бы Толстой вносить в эти списки те произведения, которые ему совсем не нравились или он их не называл просто потому, что книги, которые не понравились, не остались в памяти?

1. Существует огромная коллекция портретов Льва Толстого: его рисовали, лепили, ваяли, фотографировали. Какой из знакомых вам портретов, по вашему мнению, наиболее точно воспроизводит не только его внешность, но и духовные качества этого необычного человека?

2. В последние годы жизни писателя его много раз рисовал Илья Репин. Он создавал портреты и сюжетные картины, которые

показывали старого Толстого в действии, в движении. Среди них особенно популярна картина «Толстой на пашне». Чем, на ваш взгляд, вызвана такая популярность?

Юность. *В сокращении*

Глава I. Что я считаю началом юности

Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.

Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало юности.

Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. <…>

Глава III. Мечты

«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов, – думал я, – и больше уж никогда не буду… (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после целый час читать Евангелие, потом из беленькой, которую буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.

У меня будет особенная комната (верно, St.-Jérôme'ова), и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять все (что было это „все“, я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это „все“ разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России… даже в Европе я могу быть первым ученым… Ну а потом? – спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты – гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений: – Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы; выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (непременно выучусь играть на флейте). Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив

только здесь, когда один, совершенно один-одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее… Нет, это не хорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильней Раппо. Первый день буду держать по полпуда „вытянутой рукой“ пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, пока что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об ней, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо; нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я…»

Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. <…>

Глава XXXI. Comme il faut

Уже несколько раз в продолжение этого рассказа я намекал на понятие, соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.

Род человеческий можно разделять на множество отделов – на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых, и т. д., и т. д., но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas[3].

Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой люд. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не

существовали – я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» – с ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие comme il faut были ногти – длинные, отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипок, – это был простой; сапог с узким круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, со штрипками, облегающие ногу, или широкие, со штрипками, как балдахин стоящие над носком, – это был человек mauvais genre[4], и т. п.

Странно то, что ко мне, который имел положительную неспособность к comme il faut, до такой степени привилось это понятие. А может быть, именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда, чтобы приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, – Володе, Дубкову и большей части моих знакомых, – все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, – и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж, все это я никак не умел устроить так, чтобы было comme il faut, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим делам, заниматься этим. У других же без всякого, казалось, труда все шло отлично, как будто не могло быть иначе. Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями, я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие и как он это сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, я не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека». Этот ответ

сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий comme il faut была скрытность в отношении тех трудов, которыми достигается comme il faut. Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастия, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut. Человек comme il faut стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро, – он даже хвалил их за это: отчего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было, – но он не мог становиться с ними под один уровень, он был comme il faut, а они нет, – и довольно. Мне кажется даже, что ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были comme il faut, я бы сказал, что это несчастие, но что уж между мной и ими не может быть ничего общего. Но ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий comme il faut, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка comme il faut, – все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut; что, достигнув этого положения, он уже исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей.

В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: «Кто ты такой? и что там делал?» не будут в состоянии ответить иначе как: «Je fus un homme trus comme il faut»[5].

Эта участь ожидала меня.

Глава XXXII. Юность

Несмотря на происходившую у меня в голове путаницу понятий, я в это лето был юн, невинен, свободен и поэтому почти

счастлив.

Иногда, и довольно часто, я вставал рано. (Я спал на открытом воздухе, на террасе, и яркие косые лучи утреннего солнца будили меня.) Я живо одевался, брал под мышку полотенце и книгу французского романа и шел купаться в реке в тени березника, который был в полверсте от дома. Там я ложился в тени на траве и читал, изредка отрывая глаза от книги, чтобы взглянуть на лиловатую в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающий белые стволы берез, которые, прячась одна за другую, уходили от меня в даль чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей, молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала природа. Когда на небе были утренние серые тучки и я озябал после купанья, я часто без дороги отправлялся ходить по полям и лесам, с наслаждением сквозь сапоги промачивая ноги по свежей росе. В это время я живо мечтал о героях последнего прочитанного романа и воображал себя то полководцем, то министром, то силачом необыкновенным, то страстным человеком и с некоторым трепетом оглядывался беспрестанно кругом, в надежде вдруг встретить где-нибудь ее на полянке или за деревом. Когда в таких прогулках я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что простой народ не существовал для меня, я всегда испытывал бессознательное сильное смущение и старался, чтоб они меня не видели. Когда уже становилось жарко, но дамы наши еще не выходили к чаю, я часто ходил в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали. И это занятие доставляло мне одно из главных удовольствий. Заберешься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высокой заросшей, густой малины. Над головой – яркое горячее небо, кругом – бледно-зеленая колючая зелень кустов малины, перемешанных с сорною заростью. Темно-зеленая крапива с тонкой цветущей макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми колючими цветками грубо растет выше малины и выше головы и кое-где вместе с крапивою достает даже до развесистых бледно-зеленых ветвей старых яблонь, на которых наверху, в упор жаркому солнцу, зреют глянцевитые, как косточки, круглые, еще сырые яблоки. Внизу молодой куст малины, почти сухой, без листьев, искривившись, тянется к солнцу; зеленая игловатая трава и молодой лопух, пробившись сквозь прошлогодний лист, увлажненные росой, сочно зеленеют в вечной тени, как будто и не знают о том, как на листьях яблони ярко играет солнце.

В чаще этой всегда сыро, пахнет густой постоянной тенью,

паутиной, падалью-яблоком, которое, чернея, уже валяется на прелой земле, малиной, иногда и лесным клопом, которого проглотишь нечаянно с ягодой и поскорее заешь другою. Подвигаясь вперед, спугиваешь воробьев, которые всегда живут в этой глуши, слышишь их торопливое чириканье и удары о ветки их маленьких быстрых крыльев, слышишь жужжание на одном месте жировой пчелы и где-нибудь по дорожке шаги садовника, дурачка Акима, и его вечное мурлыканье себе под нос. Думаешь себе: «Нет! ни ему, никому на свете не найти меня тут…», обеими руками направо и налево снимаешь с белых конических стебельков сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою. Ноги, даже выше колен, насквозь мокры, в голове какой-нибудь ужаснейший вздор (твердишь тысячу раз сряду мысленно и-и-и по-оо-о двад-ца-а-ать и-и-и по семь), руки и ноги сквозь промоченные панталоны обожжены крапивой, голову уже начинают печь прорывающиеся в чащу прямые лучи солнца, есть уже давно не хочется, а все сидишь в чаще, поглядываешь, послушиваешь, подумываешь и машинально обрываешь и глотаешь лучшие ягоды.

Часу в одиннадцатом я обыкновенно приходил в гостиную, большей частью после чаю, когда уже дамы сидели за занятиями. Около первого окна, с опущенной на солнце небеленой холстинной шторой, сквозь скважины которой яркое солнце кладет на все, что ни попадется, такие блестящие огненные кружки, что глазам больно смотреть на них, стоят пяльцы, по белому полотну которых тихо гуляют мухи. За пяльцами сидит Мими, беспрестанно сердито встряхивая головой и передвигаясь с места на место от солнца, которое, вдруг прорвавшись где-нибудь, проложит ей то там, то сям на лице или на руке огненную полосу. Сквозь другие три окна, с тенями рам, лежат цельные яркие четырехугольники; на некрашеном полу гостиной, на одном из них, по старой привычке, лежит Милка и, насторожив уши, вглядывается в ходящих мух по светлому четырехугольнику. Катенька вяжет или читает, сидя на диване, и нетерпеливо отмахивается своими беленькими, кажущимися прозрачными в ярком свете ручками или, сморщившись, трясет головкой, чтоб выгнать забившуюся в золотистые густые волоса бьющуюся там муху. Любочка или ходит взад и вперед по комнате, заложив за спину руки, дожидаясь того, чтоб пошли в сад, или играет на фортепьяно какую-нибудь пьесу, которой я давно знаю каждую нотку. Я сажусь где-нибудь, слушаю эту музыку или чтение и дожидаюсь того, чтобы мне можно было самому сесть за фортепьяно. После обеда я иногда удостаивал девочек ездить верхом с ними (ходить гулять пешком я считал несообразным с

моими годами и положением в свете). И наши прогулки, в которых я провожу их по необыкновенным местам и оврагам, бывают очень приятны. С нами случаются иногда приключения, в которых я себя показываю молодцом, и дамы хвалят мою езду и смелость и считают меня своим покровителем. Вечером, ежели гостей никого нет, после чаю, который мы пьем в тенистой галерее, и после прогулки с папа по хозяйству я ложусь на старое свое место, в вольтеровское кресло, и, слушая Катенькину или Любочкину музыку, читаю и вместе с тем мечтаю по-старому. Иногда, оставшись один в гостиной, когда Любочка играет какую-нибудь старинную музыку, я невольно оставляю книгу и, вглядываясь в растворенную дверь балкона в кудрявые висячие ветви высоких берез, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается как будто пыльное желтоватое пятнышко и снова исчезает; и, вслушиваясь в звуки музыки из залы, скрипа ворот, бабьих голосов и возвращающегося стада на деревне, я вдруг живо вспоминаю и Наталью Савишну, и maman, и Карла Иваныча, и мне на минуту становится грустно. Но душа моя так полна в это время жизнью и надеждами, что воспоминание это только крылом касается меня и летит дальше.

После ужина и иногда ночной прогулки с кем-нибудь по саду – один я боялся ходить по темным аллеям – я уходил один спать на полу на галерею, что, несмотря на миллионы ночных комаров, пожиравших меня, доставляло мне большое удовольствие. В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастии, которое мне тогда казалось высшим счастием в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его. Бывало, только что все разойдутся и огни из гостиной перейдут в верхние комнаты, где слышны становятся женские голоса и стук отворяющихся и затворяющихся окон, я отправляюсь на галерею и расхаживаю по ней, жадно прислушиваясь ко всем звукам засыпающего дома. До тех пор, пока есть маленькая, беспричинная надежда хотя на неполное такое счастие, о котором я мечтаю, я еще не могу спокойно строить для себя воображаемое счастие.

При каждом звуке босых шагов, кашле, вздохе, толчке окошка, шорохе платья я вскакиваю с постели, воровски прислушиваюсь, приглядываюсь и без видимой причины прихожу в волнение. Но вот огни исчезают в верхних окнах, звуки шагов и говора заменяются храпением, караульщик по-ночному начинает стучать в доску, сад стал и мрачнее и светлее, как скоро исчезли

на нем полосы красного света из окон, последний огонь из буфета переходит в переднюю, прокладывая полосу света по росистому саду, и мне видна через окно сгорбленная фигура Фоки, который в кофточке, со свечой в руках, идет к своей постели. Часто я находил большое волнующее наслаждение, крадучись по мокрой траве в черной тени дома, подходить к окну передней и, не переводя дыхания, слушать храпение мальчика, покряхтыванье Фоки, полагавшего, что никто его не слышит, и звук его старческого голоса, долго, долго читавшего молитвы. Наконец тушилась его последняя свечка, окно захлопывалось, я оставался совершенно один и, робко оглядываясь по сторонам, не видно ли где-нибудь, подле клумбы или подле моей постели, белой женщины, – рысью бежал на галерею. И вот тогда-то я ложился на свою постель, лицом к саду, и, закрывшись, сколько возможно было, от комаров и летучих мышей, смотрел в сад, слушал звуки ночи и мечтал о любви и счастии.

Тогда все получало для меня другой смысл: и вид старых берез, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой – мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже кладущих поперек серой рабатки свои грациозные тени, и звук перепела за прудом, и голос человека с большой дороги, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками, – все это получало для меня странный смысл – смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастия. И вот являлась она, с длинной черной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всей жизнью. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что и она, с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко, далеко не все счастие, что и любовь к ней далеко, далеко еще не все благо; и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то

неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза.

И все я был один, и все мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже осквернённый всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа и луна, и я, мы были одно и то же. <…>

Вопросы и задания

1. В каждой из частей автобиографической трилогии Льва Толстого есть глава, которая названа так же, как и сама повесть. В «Детстве» это глава XV, в «Отрочестве» – XIX, в «Юности» – глава XXXII. Можете ли вы решить, зачем автору нужны такие специальные главы? После того как вы подумаете об этом, перечитайте XXXII главу из «Юности». Были ли вы правы в своем предположении?

2. В первой редакции одной из частей трилогии были такие строки: «Мечты честолюбия, разумеется, военного, также тревожили меня. Всякий генерал, которого я встречал, заставлял меня трепетать от ожидания, что вот-вот он подойдет ко мне и скажет, что он замечает во мне необыкновенную храбрость и способность к военной службе и верховой езде… и наступит перемена в жизни, которую я с таким нетерпением ожидаю». Как вы думаете, в какой из повестей можно прочесть эти строки: в «Отрочестве» или «Юности»? Ответ обоснуйте.

3. Какая из прочитанных глав открыла вам характер и взгляды героя полнее всего, помогла заинтересоваться им как человеком?

1. Прочтите главу «Мечты», попробуйте ее пересказать и дать к ней собственный комментарий.

2. Если вы читали повесть «Отрочество», сравните главы с одинаковым названием «Мечты». Чем отличаются мечты подростка от мечтаний юноши в этих повестях?

3. Перечитайте главу «Что я считаю началом юности». Согласны ли вы с тем, как автор определил начало нового периода жизни?

4. Как вы связываете «мечты» Николеньки Иртеньева с его «правилами»? Для ответа используйте главы «Мечты» и

«Правила».

5. Почему в повести «Юность» появилась глава с несколько неожиданным названием: «Я большой»? В каком возрасте вам приходила мысль о том, что вы уже стали «большими»? Были ли вы тогда ровесниками Николеньки Иртеньева?

6. Большую роль в рассказе о юности Николеньки Иртеньева играют описания экзаменов. Попробуйте рассказать об одном из них по своему выбору. Близки ли вам чувства Николеньки Иртеньева?

7. Лев Толстой, как утверждают специалисты, был единственным человеком, который сумел описать распространенное явление – «comme il faut». Как вы поняли, что такое «комильфо»? Есть ли и в нашем обществе люди, которые стремятся следовать такого рода идеалам?

8. Толстой, работая над повестью «Юность», читал «Евгения Онегина», «Мертвые души» и «Посмертные записки Пиквикского клуба» Диккенса. Видите ли вы какую-то связь между настроением писателя, которым проникнуты страницы «Юности», и книгами, которые он перечитывал?

9. Попробуйте рассказать о Николеньке Иртеньеве, каким вы узнали его в повести «Юность». При подготовке рассказа внимательно проследите за отношением автора к герою. Ведь именно в этой повести вместо открытой симпатии, которую испытывал автор к нему в первых двух частях трилогии, возникает двойственное отношение к герою. Тщеславие, которым проникнуто поведение Николеньки, раздражало Толстого, он к тому времени, когда писал повесть, уже преодолел эти ложные увлечения и соблазны.

10. Что более всего привлекло вас в главах «Юности» – знакомство с героями или возможность пересмотреть собственные взгляды, идеалы, поведение?

Антон Павлович Чехов (1860–1904)

Это был несравненный художник… художник жизни… И достоинство его творчества в том, что оно понятно и сродни не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще.

Л. Н. Толстой

«Жизнь дается человеку один раз, и нужно прожить ее бодро, осмысленно, красиво». Эти слова принадлежат Чехову. Именно так прожил свою непростую жизнь этот удивительный писатель.

А. П. Чехов родился в Таганроге. Его дед по отцу, крепостной из Воронежской губернии, выкупил себя с семьей на волю и в конце жизни служил управляющим имением. Отец Чехова владел в Таганроге небольшой бакалейной лавкой. В его натуре соединились стремление «выйти в люди» с непрактичностью и неумением вести дела, художественная одаренность – с властностью и деспотичностью по отношению к домашним. «Я прошу тебя вспомнить, – писал Чехов брату Александру, который был ему духовно близок, – что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать».

Мать Чехова, также внучка выкупившегося на волю крестьянина-крепостного, вносила в семью мягкость и человечность. «Талант в нас со стороны отца, а душа – со стороны матери», – говорил впоследствии Чехов.

Из радостей детства ему навсегда запомнились рыбалка, ранняя весна на Дону, ловля щеглов. Яркая способность к импровизации и подражаниям проявлялась в сценках, домашних представлениях, которые Чехов сочинял и разыгрывал с братьями.

Учение особого интереса у Чехова не вызывало: дух казенщины и формализма, царивший в гимназии, впоследствии отражен в ряде его произведений, особенно в «Человеке в футляре». Гораздо большее влияние на его духовное становление оказали театр и библиотека.

В 1876 году отец Чехова, окончательно разорившись, бежал от долговой тюрьмы в Москву, туда же уехали мать с младшими детьми. Антон в 16 лет остался в Таганроге один, без денег, в

чужом доме и должен был зарабатывать уроками на жизнь и учение и еще высылать небольшие денежные переводы семье.

В 1879 году Чехов поступает на медицинский факультет Московского университета. Занятия в университете он соединяет с разнообразной и непрерывной литературной работой, что становится почти единственным средством существования семьи. Чехов печатается в журналах «Зритель», «Стрекоза», «Будильник», «Осколки» под псевдонимами Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Брат моего брата и др. – всего известно свыше 50 чеховских псевдонимов. Главными жанрами юмористической прессы были так называемые мелочи, писавшиеся по давно устоявшимся шаблонам – шуточные афоризмы, подписи к рисункам, пародийные календари, отчеты, словари, руководства. Чехов работал почти во всех этих жанрах, но достаточно скоро традиционность малых форм начала тяготить его.

Писатель перерастает юмористическую мелочь, рассказы 1882–1883 годов («Дочь Альбиона», «Смерть чиновника», «На гвозде», «Торжество победителя» и др.) выбиваются из общего фона юмористических рассказов. О рассказе «На гвозде» редактор «Осколков» Лейкин написал своему сотруднику А. Чехонте: «Это настоящая сатира. Салтыковым пахнет».

В произведениях писателя намечается чрезвычайное разнообразие тональности. Юмор не исчезнет никогда из творчества Чехова, но приобретет новые оттенки. В читательском сознании сосуществуют два Чехова: автор «Толстого и тонкого», «Хамелеона», «Лошадиной фамилии», «Жалобной книги» и автор «Скучной истории», «Дома с мезонином», «Дамы с собачкой».

А. П. Чехов – общепризнанный мастер малой повествовательной формы. Она становится у писателя удивительно емкой и дает возможность проникнуть в суть явлений, обнаружить глубинные связи и закономерности действительности. Изображая повседневное, т. е. то, что может случиться всегда и со всяким, писатель берет мельчайший факт из жизни отдельного человека и возводит до уровня общечеловеческих отношений.

В 1887 году выходит сборник рассказов Чехова «В сумерках», за который Академия наук присуждает ему Пушкинскую премию.

В рассказах и повестях, написанных в 90-е годы, Чехов пишет о проблемах интеллигенции, об иллюзиях, заблуждениях и несостоятельности жизненных программ («Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», «Учитель словесности»). О ложных представлениях, определяющих судьбы людей, повествует каждый из рассказов «маленькой трилогии» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Герои этого цикла связаны скрытой общностью:

гимназический учитель Беликов, который свел свою жизнь к следованию инструкциям и правилам, с его девизом «как бы чего не вышло» («Человек в футляре»), чиновник Чимша-Гималайский, мечтающий всю жизнь о покупке имения с крыжовником («Крыжовник»), помещик Алехин, который, будучи влюблен, позволил сдерживающим соображениям настолько овладеть собою, что погибла сама любовь («О любви»). Каждый из героев пытается подчинить жизнь какой-либо узкой программе, заключить ее в некий футляр.

В 1898 году состоялась встреча Чехова с коллективом созданного К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко Московского Художественного театра. После триумфального успеха «Чайки» в декабре 1898 года в Художественном театре ставят «Дядю Ваню» (1899). Две последние пьесы «Три сестры» (1901) и «Вишневый сад» (1903) Чехов пишет специально для этого театрального коллектива. Немирович-Данченко говорил, обращаясь к писателю: «Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: „это – мой театр!“»

Чехов умер на немецком курорте Баденвейлере, не успев осуществить многих творческих замыслов.

Человек в футляре. *В сокращении*

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия – Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иваныч, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

– Что же тут удивительного! – сказал Буркин. – Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, – кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него в чехле и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

– О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: – Антропос![6]

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено – и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

– Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло. <…>

Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать

лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять-пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте…

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

– Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели… То-то вот оно и есть.

– Беликов жил в том же доме, где и я, – продолжал Буркин, – в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и – ах, как бы чего не вышло! <…>

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:

– Шутите!

– Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленка, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу… А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, – одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет… Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, – всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

– Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У

хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто – ужас!».

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

– А хорошо бы их поженить, – тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

– Ему давно уже за сорок, а ей тридцать… – пояснила свою мысль директорша. – Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот, к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим – в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. <…>

И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

– Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все – и товарищи и дамы – стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему

ласково, сердечно, – голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

– Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, – проговорил Иван Иваныч.

– Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

– Варвара Саввишна мне нравится, – говорил он мне со слабой кривой улыбочкой, – и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но… все это, знаете ли, произошло как-то вдруг… Надо подумать.

– Что же тут думать? – говорю ему. – Женитесь, вот и все.

– Нет, женитьба – шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность… чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов, он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Skandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

– Не понимаю, – говорил он нам, пожимая плечами, – не понимаю, как вы переваривaете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким

писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками:

– Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

– Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники – все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому, – это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу, – выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

– Какие есть нехорошие, злые люди! – проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

– А мы, – кричит она, – вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня….

– Позвольте, что же это такое? – спросил он. – Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

– Что же тут неприличного? – сказал я. – И пусть катаются себе на здоровье.

– Да как же можно? – крикнул он, изумляясь моему спокойствию. – Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя

погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

– Садитесь, покорнейше прошу, – проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

– Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем… Я не подавал никакого повода к такой насмешке, – напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

– И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

– Почему же? – спросил Коваленко басом.

– Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно!

– Что же, собственно, вам угодно?

– Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы – человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя… Что же хорошего?

– Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! – сказал Коваленко и побагровел. – А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

– Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, – сказал он. – И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

– А разве я говорил что дурное про властей? – спросил Коваленко, глядя на него со злобой. – Пожалуйста, оставьте меня

в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

– Можете говорить, что вам угодно, – сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. – Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора… в главных чертах. Я обязан это сделать.

– Доложить? Ступай докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели – и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, – ах, как бы чего не вышло! – нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку…

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

– Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал: спросишь его, а он только да или нет – и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже

никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, – это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, – чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!

– То-то вот оно и есть, – сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

– Сколько их еще будет! – повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

– Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх. <…>

– То-то вот оно и есть, – повторил Иван Иваныч. – А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

– Нет, уж пора спать, – сказал Буркин. – До завтра.

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп… Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп… Собаки заворчали.

– Это Мавра ходит, – сказал Буркин.

Шаги затихли.

– Видеть и слышать, как лгут, – проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок, – и тебя же называют дураком за то,

что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, больше жить так невозможно!

– Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч, – сказал учитель. – Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

Понятие о юморе и сатире

Юмор – особый вид комического; отношение сознания к объекту, сочетающее внешне комическую трактовку с внутренней серьезностью. В юмористических произведениях обычно подвергаются осмеянию существенные, но частные недостатки каких-либо жизненных явлений, а иногда и отдельные черты людей. По отношению к таким недостаткам автор не испытывает негодования, дружески подшучивает над ними.

Сатира – вид комического: беспощадное осуждение, уничтожающее отношение к объекту изображения. В сатирическом изображении писатель часто показывает отрицательные стороны жизненных явлений в нарочито подчеркнутом, преувеличенно комическом, иногда гротескном виде, благодаря чему отчетливее выступают несообразность, недопустимость их в жизни.

Отношение юмора к сатире определяется тем, что источником сатирического смеха служат пороки, недостатки как таковые, а юмор исходит из той истины, что наши недостатки и слабости – это чаще всего продолжение или изнанка наших же достоинств. Сатира, разоблачая объект, откровенна в своих проявлениях, тогда как цель юмора – ничего не отвергая, помочь человеку легко, со смехом преодолеть жизненные и личностные проблемы. Бескомпромиссно-требовательная позиция сатирика ставит его во внешнее отчуждение, враждебное положение к объекту, более близкое отношение юмориста тяготеет к снисходительности.

Вопросы и задания

1. Что находится в центре внимания Чехова – курьезный случай, происшедший с чудаком, или жизнь в ее уродливых

проявлениях? Ответ обоснуйте.

2. Один из знакомых Чехова заметил: «Вчера после прочтения „Человека в футляре“ я более двух часов говорил об этом гнетущем, только в России возможном явлении…» О каком явлении идет речь? Какие явления общественной жизни нашли отражение в рассказе?

3. Объясните смысл названия рассказа.

⏩1. В чем, на ваш взгляд, заключается понятие «футлярность жизни»? Как это раскрывается в образе главного героя?

2. С помощью каких приемов автор создает образ Беликова? Найдите в тексте примеры использования гротеска.

3. Художественная деталь – выразительная подробность в произведении, несущая значительную смысловую и идейную нагрузку. Найдите в тексте художественные детали и покажите их роль.

4. Как речь, реплики героя помогают раскрыть его характер? Какое любимое слово у Беликова и как оно раскрывает его сущность?

⏩⏩1. Комичен или страшен Беликов?

2. М. Громов в «Книге о Чехове» пишет: «В Беликове снижена и развенчана тема тиранической власти, древняя тема. Чехов развенчал трагедийный образ, лишив его даже тени величия, ибо тиран велик лишь в глазах раба, в глазах свободного человека тиран – ничтожество». В чем заключается причина общего страха перед Беликовым?

3. Что обличает и осуждает Чехов в своем рассказе? Какая проблема волнует писателя?

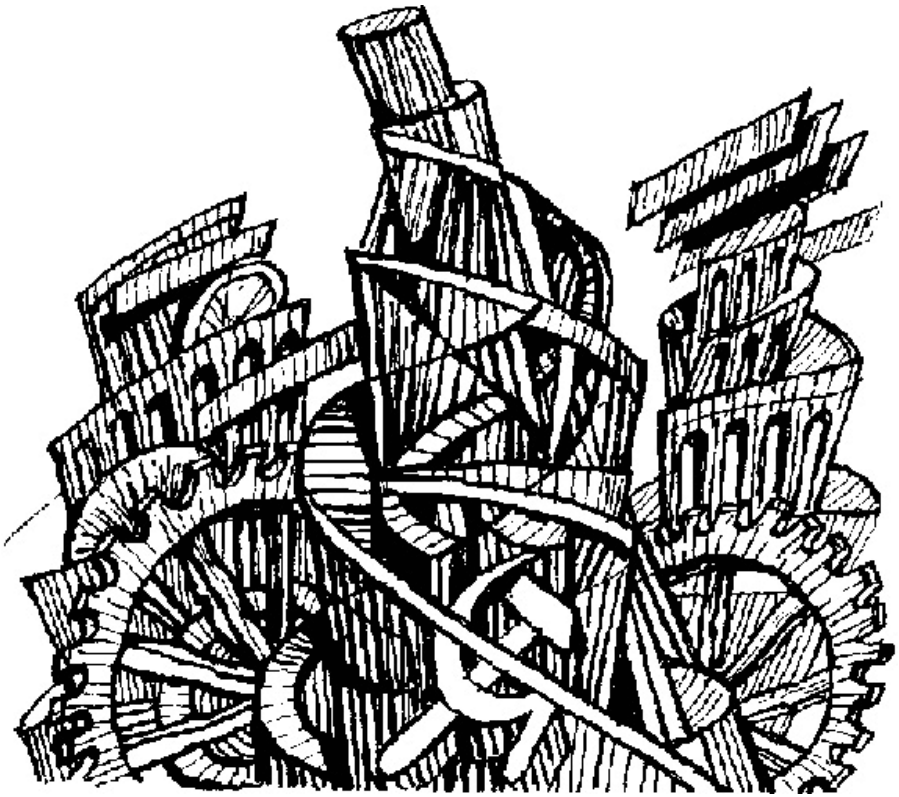
4. Почему три разных на первый взгляд рассказа составляют единый цикл – «маленькую трилогию»? Что связывает их между собой?

5. Как «футлярность жизни» проявляется в рассказах «Крыжовник», «О любви»?

6. Юмористический или сатирический рассказ «Человек в футляре»? Ответ обоснуйте.

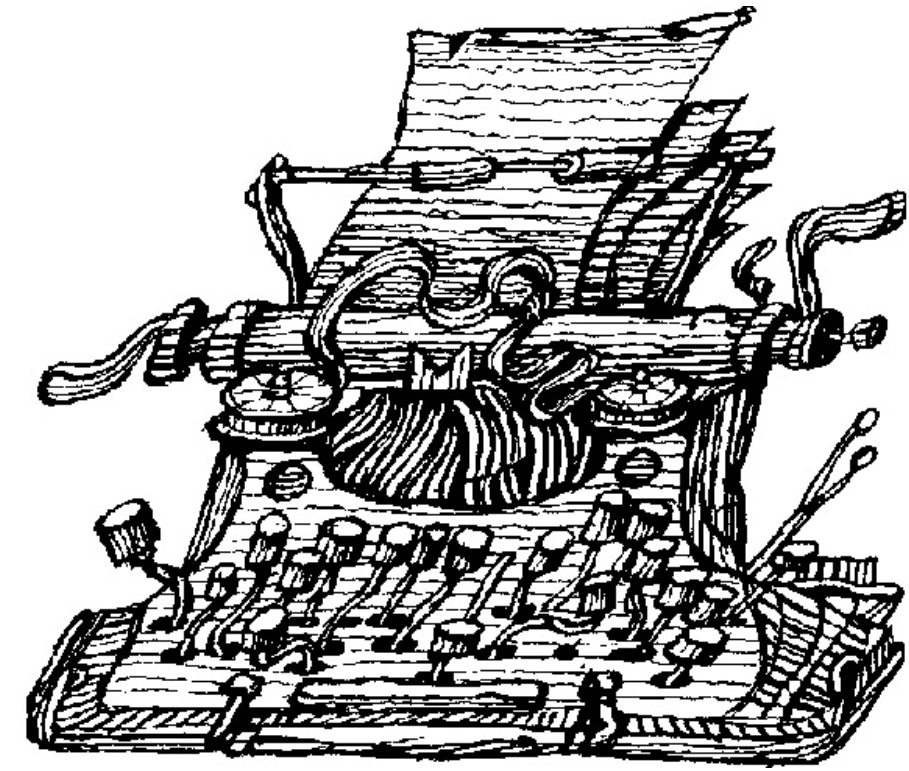
7. Приведите примеры юмора и сатиры в прочитанных вами рассказах Чехова.

Литература XX века



От Бунина до Солженицына.
Русская литература 60–90-х годов.

О русской литературе XX века



Русская литература XX века развивалась бурно и противоречиво. В начале столетия возникло множество художественных течений, читатели вновь и вновь убеждались, что перед ними мощное и стремительно развивающееся искусство, которое ищет и находит новые пути.

1917 год резко изменил характер развития русской литературы: внутри страны создавалась советская литература, за пределами России – литература зарубежья. Везде были находки и неудачи, но нельзя забывать главное – это необъятное море произведений носит имя Русская литература.

Советская литература развивалась стремительными темпами. Размах издательской деятельности в СССР был колоссален. Страна претендовала на то, чтобы считаться самой читающей в мире. Но была и другая статистика. В 30-е годы в СССР было расстреляно около тысячи писателей, примерно столько же не выжило в тюрьмах и лагерях.

Русская литература XX века – это не только сохранение и развитие традиций писателей и поэтов девятнадцатого столетия,

это и новаторский подход к созданию новых тем, образов.

При всем богатстве литературных поисков в XX веке все же основным направлением можно считать реализм, который активно взаимодействует с другими художественными методами XX и XXI веков.

Теоретическое осмысление такого сложнейшего явления, как русская литература XX века, очевидно, еще впереди. Однако обращение к реалистическим произведениям и к произведениям писателей и поэтов других направлений уже сегодня несет в нашу жизнь стремление сделать ее совершеннее, расширяет возможности познания мира, обогащает мир чувств читателя.

Вопросы и задания

1. В чем вы видите особенности развития русской литературы XX века?
2. Какое литературное направление является ведущим в русской литературе XX века? Ответ обоснуйте.
3. Сопоставьте известные вам произведения XIX и XX веков. Определите общие и различные темы. Сравните характеры героев.

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953)

Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь, – как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирного толпой!

И. А. Бунин

«Казалось, что Бунин имел в жизни все, что человек на земле может желать: долголетие, талант, красоту, славу… и, имея все это, смиряясь и не сдаваясь, оставался он вместе с нами, в нашей нищете и изгнании.

Он много знал, много страдал и многое возлюбил.

Был он Поэт и, пытаясь возвышать и преображать жизнь, платил за все дорогою ценой» – такие слова прозвучали в Париже в ноябре 1953 года, когда друзья и родные провожали в последний путь замечательного русского поэта и писателя.

Иван Бунин провел детство в обедневшем родовом имении на хуторе Бутырки Орловской губернии среди «моря хлебов, трав, цветов». Не окончив гимназии, Бунин отправляется на поиски своей судьбы: он работает корректором, библиотекарем, газетным репортером… В 1891 году вышел первый сборник его стихов, за ним последовали другие. Поэзия Бунина – это песнь о родине, о ее «бедных селеньях», необъятных лесах в «атласном блеске березняка». За сборник «Листопад», который был посвящен Горькому, поэт получил в 1901 году Пушкинскую премию.

В эти же годы Бунин создает прозаические произведения: рассказы «Антоновские яблоки», «Сосны», «Чернозем» и многие другие. Они производят на современников сильное впечатление, словно подтверждая это, Горький скажет: «…Он так стал писать прозу, что если скажут о нем: это лучший стилист современности – здесь не будет преувеличения». В 1909 году Академия наук избирает его почетным академиком.

Враждебно встретив революцию, Бунин в 1920 году эмигрировал во Францию. За рубежом творчество писателя не утратило своей яркости и неразрывной связи с Родиной. В эмиграции Бунин оставался одним из самых значительных и ярких русских писателей. В 1933 году ему была присуждена Нобелевская премия. В 1954 году, на втором съезде писателей СССР, его, жившего за рубежами Родины, назвали «классиком рубежа двух столетий». Во Франции им были созданы сборники рассказов «Темные аллеи», «Окаянные дни», «Под серпом и молотом», цикл портретов (Горький, Маяковский, Волошин)…

Бунин так и не узнал, что Лев Толстой, читая его раннюю прозу, сказал: «Идет дождик, – и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего». Это суждение прозвучало в начале века, и годы только оттачивали мастерство. В 1915 году поэт напишет пророческие строки.

Слово

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

Теперь уже ясно: речь была сохранена, она возрождалась в стихах и прозе. Вот как в изгнании в последние годы жизни будет звучать русское слово.

Русская сказка

Ворон

Ну что, бабушка, как спасаешься?
У тебя ль не рай, у тебя ль не мед?

Яга

Ах, залетный гость! Издеваешься!
Уж какой там мед – шкуру пес дерет!
Лес гудит, свистит, нагоняет сон,
Ночь и день стоит над волной туман,
Окружен со всех с четырех сторон
Тьмой да мглой сырой островок Буян.
А еще темней мой прогнивший сруб,
Где ни вздуть огня, ни топить не смей,
А в окно глядит только голый дуб,
Под каким яйцо закопал Кощей.
Я состарилась, изболела вся,
Сохраняючи чертов тот ларец!
Будь огонь в светце – я б погрелася,
Будь капустный клок – похлебала б щец.
Да огонь-то, вишь, в океане – весть,
Да не то что щец – нету прелых лык!

Ворон

Черт тебе велел к черту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!

Это конец 1921 года. Сказка это или притча – решать читателям.

Можно прочесть и прямой отклик на жизнь в изгнании. В наследии поэта есть такое стихотворение (1920).

Изгнание

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан…
Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?
Гляжу вперед на черное распятье
Среди дорог —
И простирает скорбные объятья
Почивший Бог.

Среди созданных в эмиграции произведений – замечательный автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» (1930 г., Париж; в Москве впервые издано в однотомнике 1961 г.).

Замысел романа жил в сознании писателя давно. В дневниковой записи от 7 мая 1940 года можно прочесть: «„Жизнь Арсеньева“ („Истоки дней“) вся написана в Грассе. Начал 22.VI.27. Кончил 17/30.VII.29».

Исследователи считают, что прототипы «Жизни Арсеньева» «прозрачны», узнаваемы. Некоторые прямо утверждают, что Алексей Арсеньев – сам Ваня Бунин, Александр Сергеевич Арсеньев – отец Бунина, Алексей Николаевич, Георгий – брат Юлий, Николай – брат Евгений. Родной хутор Бутырки Елецкого уезда, где «в вечной тишине» полей протекало детство писателя, назван в романе Каменка.

Жизнь Арсеньева. *В сокращении*

Книга первая

XI

Дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму… Но что могу я сказать о них? Только нечто общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную.

Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо (в овальной раме орехового дерева,

стоявшее напротив двери) – и на минуту запнулся: на меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлен и даже слегка испуган той переменой, которая с каких-то пор, – может быть, за одно лето, как это часто бывает, – произошла во мне и которую я наконец внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне было тогда лет. Полагаю, что случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет семи, а более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выраженьем лица – и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, – свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выраженье: внезапно увидал, одним словом, что я уже не ребенок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему…

И так оно и было на самом деле. Преимущественное

запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, – что уже само по себе означало не малое, – и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое ученье. Я перенес первую тяжелую болезнь. Пережил новую смерть – смерть Нади, потом смерть бабушки… <…>

XIV

Дон-Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу коленопреклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В письмах А. К. Толстого есть такие строки: «Как в Вартбурге хорошо! Там даже есть инструменты XII века. И как у тебя бьется сердце в азиатском мире, так у меня забилось сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал». Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из Выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать себе их? Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни святая София, ни старые церкви в русских кремлях и доныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) вошел в костел, хотя это был всего-навсего костел в Витебске! Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские гласы…

А за Дон-Кихотом и рыцарскими замками последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир океанский, тропический. Уж к этому-то миру я несомненно некогда принадлежал. Картинки в Робинзоне и во «Всемирном путешественнике», а вместе с ними большая пожелтевшая карта земного шара с великими пустотами южных

морей и точками полинезийских островов пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними – все чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле нее в райской тишине сонного послеполуденного часа. Какие сладкие и яркие виденья и какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками! <…>

В книге «Земля и люди» были картинки в красках. Помню особенно две: на одной – финиковая пальма, верблюд и египетская пирамида, на другой – пальма кокосовая, тонкая и очень высокая, косой скат длинного пятнистого жирафа, тянувшегося своей женственной косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к ее перистой верхушке – и весь сжавшийся в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу гривастый лев. Все это – и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев – было на фоне двух резко бьющихся в глаза красок: необыкновенно яркой, густой и ровной небесной сини и ярко-желтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости! В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованьях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: да, да, все это именно так, как я впервые «вспомнил» тридцать лет тому назад!

XV

Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»:

> У лукоморья дуб зеленый,
> Златая цепь на дубе том…

Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор – какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то «ученый» кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то

прикованный к дубу, какой-то леший, русалки, и «на неведомых дорожках следы невиданных зверей». Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное; в том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и «ученый» в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрестанных движений («и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом»), и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей», – только следы, а не самые звери! – и это «о заре», а не на заре, та простота, точность, яркость начала (лукоморье, зеленый дуб, златая цепь), а потом – сон, наважденье, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:

Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать рыцарей прекрасных
Чредой из волн выходят ясных,
И с ними дядька их морской…

У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские помещики» и «Страшная месть». Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав». Эти «поющие двери», этот «прекрасный» летний дождь, который «роскошно» шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где «старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей…» А «Страшная месть»!

«Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости…»

«Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, с молодою женой Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец…»

И дальше:

«Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен… Посереди

Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны…»

А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка: «На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды» (те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь). Вот она «замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи…»

Опять дивлюсь: как мог я тогда, в Каменке, так разительно точно видеть все эти картины! И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей! К одному я был холоден и забывчив, другое ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой, – и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса.

«Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака…»

Да, вот это было мне нужно!

«Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы; хата на вид, как у простых Козаков, и в ней одна светлица… Вокруг стен, вверху, идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья… Под стеною, внизу, дубовые, гладко вытесанные лавки; возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило, на лежанке старая прислужница; в люльке тешится и убаюкивается малое дитя; на полу покотом ночуют молодцы…»

Несравненней всего – эпилог:

«За пана Степана, князя Семиградского, жило два козака: Иван да Петро…»

«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, – чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществленья Его торжества и Его праведной кары оно

повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу и к ближнему…

XVI

Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше же всего вымышленной.

Подлинная жизнь была бедна.

Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я. <…>

XIX

<…> В начале августа меня повезли наконец – на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», – решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», – через мгновенье еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился – пока она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал: «А может, Бог даст, я еще не выдержу…»

Увы, я выдержал. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто такие были амаликитяне, попросили «четко и красиво» написать: «Снег бел, но не вкусен», да прочесть наизусть: «Румяной зарею покрылся восток…» Тут мне даже кончить не дали: едва я дошел до пробужденья стад «на мягких лугах», как меня остановили, – верно, учителю (рыжему, в золотых очках, с широко открытыми ноздрями) слишком хорошо было известно это пробужденье, и он поспешно сказал:

– Ну, прекрасно, – довольно, довольно, вижу, что знаешь…

Да, брат был прав: в самом деле «ничего особенно страшного» не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я!

Сказочная дорога в город, в котором я не был со времен моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, – все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной, трехэтажное здание гимназии за высокой оградой, в глубине большого мощеного двора, я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Не удивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену.

После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне дается отпуск до первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, – он страшно соскучился сидеть в «учительской», где испытывали мои знания, – у меня еще более. Все вышло отлично: и выдержал, и целых три недели свободы впереди! Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рожденья до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на три недели, а я почувствовал только одно: слава Богу, целых три недели! – точно этим трем неделям и конца не предвиделось.

– Ну-с, зайдем теперь поскорей к портному – и обедать! – весело сказал отец, выходя из гимназии.

И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в «шапочное заведение», где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату, какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде: старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз, – в общем, нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне наконец превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я

и домой вернулся, – на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец:

– И на черта ему эти амаликитяне? <…>

Книга вторая

V

Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был такой, что мнилось: все кончено! Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были! Все с иголочки, все прочно, ловко, все радует: расчищенные сапожки, светло-серое сукно панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженых головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради… А потом – резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы, с каким-то сугубым возбужденьем вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед ученьем в сборной зале, первый развод «попарно и в ногу» по классам, – ведет и, командуя, бойко марширует впереди настоящий военный, отставной капитан, – первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой… Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы…

Учился я легко; хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным – посредственно, отделываясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо,

казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные, среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен: он был страшно молчалив, страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения, ходил всегда по середине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него браться за дверную ручку, за стул перед кафедрой; он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство печально и тихо устремленными глазами…

Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное ученье по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска, – ах, если бы поскорей мелькали они! <…>

XV

Через год вышел на свободу и я, – бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной.

Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…

Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним, внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе.

Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая! Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки – и черный узор сучьев сразу осыпают

несметные ярко-зеленые мушки. А там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень – и опять, еще раз совершается диво: дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь… Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни —

Когда в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться стала муза мне…

Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку «промотавшихся отцов» в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость «всех впечатлений бытия», но долины, всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой – все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, «расцветал» я, очень не походило на царскосельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них! Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, – те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее! И не все ли равно, что именно извлекало их? И что с того, что ни единым словом не умел я их передать, выразить!

XVI

Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих… Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу.

Как в старинных стихах:

Мне возвращен был кров родимый,
Дарован мир степной глуши,
Привычный быт и круг любимый
И жар восторженной души…

Почему я возвратился под этот кров, почему бросил

гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого на первый взгляд ничтожного события?

Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто «по вольности дворянства», как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое, – суждения его всегда были крайне противоречивы, – то, что я поступил вполне «логично», – он произносил это слово очень точно и изысканно, – сделал так, как требовала моя натура.

– Нет, – говорил он, – призвание Алексея не гражданское поприще, не мундир и не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать-то, слава Богу, уже не над чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет?..

В самом деле, многое сложилось против моего казенного учения: и та «вольность», которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание «к поэзии души и жизни», уже ясно определившееся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино.

Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские, – его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие. То, весьма, в сущности, неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, – «нельзя жить плакучей ивой», что «жизнь все-таки великолепная вещь», как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо-чудесное – словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение – во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать «вторым Пушкиным или Лермонтовым», Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные. <…>

VIII

Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни.

Когда он вошел в меня? Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне (певуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевого с гусаром я сидел» – и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я» – и я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме… Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным.

Никак не отделим был от нее и Лермонтов:

Немая степь синеет, и кольцом
Серебряным Кавказ ее объемлет,
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит, не умолкая…

Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу! И все-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!

Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный» – с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:

Еще ты дремлешь, друг прелестный…

Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он:

Вопросами: тепло ль? утихла ли метель,
Пороша есть иль нет? И можно ли постель
Оставить для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?

Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной, выражает мою заветную мечту:

Спеши, моя краса,
Звезда любви златая
Взошла на небеса!

Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?

Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», – в самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка, – и кто это изливает свою юношескую любовь или, вернее, жажду ее – я или он?

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!

А там опять «роняет лес багряный свой убор», и «страждут озими от бешеной забавы» – той самой, которой с такой страстью предаюсь и я:

Как быстро в поле, вкруг открытом,
Подкован вновь, мой конь бежит,
Как звонко под его копытом
Земля промерзлая стучит!

Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна – и опять звучат во мне дивные слова:

Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла, —

и душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот тихий час —

К брегам, потопленным шумящими волнами…

Вопросы и задания

1. Когда, по утверждению рассказчика – Алексея Арсеньева, он вступил в «сознательную жизнь»?

2. Опишите приемный экзамен в гимназию. Что спрашивали у Алеши? Знаете ли вы, кто такие амаликитяне? Как отнесся к этому вопросу отец Алеши?

3. Опишите первый бал, на котором удалось побывать герою. Сочувствуете ли вы его переживаниям и понятны ли они вам?

1. Алексей вспоминает об иллюстрациях в тех книгах, которые он читал в детстве – они запомнились ему на всю жизнь. Остались ли и у вас воспоминания об иллюстрациях давно прочитанных книг?

2. Согласны ли вы с Алешей Арсеньевым, что знакомые строки «У лукоморья дуб зеленый…» так хороши, что их заслуженно можно назвать «колдовскими»?

3. Как Алеше удается доказать, что «Страшная месть» Н. В. Гоголя утверждает торжество справедливости? Убедил ли он вас в этом?

4. Попробуйте дать собственный комментарий к стихотворениям Пушкина, о которых говорится в тексте. Используйте опыт рассуждений, которые вы нашли на страницах произведения Бунина.

Максим Горький (1868–1936)

Человека создает его сопротивление окружающей среде.

М. Горький

Как сложилась жизнь Алексея Пешкова, который впоследствии стал Максимом Горьким? Наиболее убедительно суждение писателя Евгения Замятина: «Они жили вместе – Горький и Пешков. Судьба кровно, неразрывно связала их. Они

были похожи друг на друга и все-таки не совсем одинаковы. Иногда случалось, что они спорили и ссорились друг с другом, потом снова мирились и шли в жизни рядом.

Их пути разошлись только недавно: в июне 1936 года Алексей Пешков умер, Максим Горький остался жить. Человек с самым обычным лицом русского мастерового и со скромным именем „Пешков“ был тот самый, кто выбрал для себя псевдоним „Горький“».

В послереволюционные годы Максим Горький отдавал все силы для того, чтобы спасти лучших людей нации, ее ум и совесть, он не только стремится спасти невиновных, он создает различные учреждения, которые, с одной стороны, показывали веру в возможность расцвета культуры, а с другой стороны, спасали от голодной смерти десятки людей: издательство «Всемирная литература», Комитет исторических пьес, Дом искусств, Дом ученых. Планы Горького походили на сооружение грандиозного здания, они были рассчитаны на десятки лет. В столице, где тогда уже не было хлеба, света, трамваев, в атмосфере разрушения и катастрофы, эти затеи казались в лучшем случае утопическими. Но Горький в них верил («надо верить») и своей верой сумел заразить многих скептиков. «Мне приходилось, – пишет Е. Замятин, – встречаться с ним очень часто, и помню, я не раз с изумлением задавал себе вопрос: сколько часов в сутках у этого человека? Как у него, вечно покашливающего в прокуренные рыжие усы, наполовину съеденного туберкулезом, хватает сил на все…»

Но времена менялись, сил становилось все меньше. Глубокой осенью 1921 года Горький выехал за границу. Возвратиться на Родину хотелось как можно быстрее, однако мешали самые различные обстоятельства: сложные отношения с Л. Троцким, враждебные с Г. Зиновьевым…

В 1922 году Горький завершил работу над повестью «Мои университеты» – последней книгой автобиографической трилогии.

Прошли годы. Горький несколько раз приезжал в Россию – в 1928, 1929, 1931, 1932, 1933 годах – на несколько месяцев. Один из исследователей жизни писателя пишет: «Когда уехал Горький? Горький уехал при Ленине, уехал потому, что не мог оставаться. Когда вернулся Горький? Вернулся при Сталине. Вернулся потому, что не мог не вернуться». Горькому показали, как его любят на Родине и доказали, что он необходим России как организатор литературных сил.

Писатель поверил, он был убежден, что новая Россия строит новую жизнь, и готов встать на ее защиту. Появляется его статья

под грозным заголовком «Если враг не сдается, его уничтожают». 15 ноября 1930 года она одновременно появилась в газетах «Правда» и «Известия». Этот жестокий афоризм остался надолго в памяти людей.

9 мая 1933 года. Возвращение в СССР. Интенсивная литературная и издательская деятельность: серия «Библиотека поэта», альманах «Год шестнадцатый» и др. Подготовка к писательскому съезду.

1934 год. Работа над четвертым томом романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина», публицистическими и критическими статьями. Проведение Первого Всесоюзного съезда писателей.

18 июня 1936 года Максим Горький умер.

Е. Замятин утверждал: «Горький никогда не мог оставаться только зрителем, он всегда вмешивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Он был заряжен такой энергией, которой было тесно на страницах книг: она выливалась в жизнь – это книга, это увлекательный роман».

Мои университеты. *В сокращении*

Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

– Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены – он так и говорил: «кое-какие», – в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Все – очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

– Ты – не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал! Это – от деда у тебя, а – что он, дед? Жил, жил, да

в дураки и вышел, горький старик. Ты – одно помни: не Бог людей судит, это – черту лестно! Прощай, ну…

И, отирая с бурых, дряблых щек скупые слезы, она сказала:

– Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я – помру…

За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой – концом старенькой шали – отирает лицо свое, темные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы; в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами – обширный подвал, в нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы – мать и два сына – жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровенных парней, не считая себя самое?

Была она молчалива; в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает – не вывезу, – а все-таки везет!

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

– Вы зачем приехали?

– Учиться, в университет.

Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

– О, черт…

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

– Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в

университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

– Ах, Николай, Николай…

А он, в эту минуту, вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый.

– Мама, хорошо бы пельмени сделать!

– Да, хорошо, – согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо – плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил ее поведение словами:

– Не в духе…

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется – швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Ларошфуко и Ларошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье – Дюмурье, или – наоборот? Славный юноша искренне желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но – у него не было времени и всех остальных условий для того, чтоб серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, еще менее чувствовал это его брат, тяжелый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду – отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался,

что университет – фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, – я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни – тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать-двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов, прочитанных мною, еще более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

– Что ты, как девушка, ежишься, али честь потерять боязно? Девке честь – все ее достояние, а тебе – только хомут. Честен бык, так он – сеном сыт!

Рыженький, бритый, точно актер, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо».

– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.

– Баба, баба! – выпевал он, и желтая кожа его лица

разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на все пойду. Для нее, как для черта, – нет греха! Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано!

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и – между прочим – ему принадлежит широко распространенная песня:

Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это…

Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

– Ты, Пешков, к воровским шалостям не приучайся! – говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. – Я вижу: у тебя иной путь, ты человечек духовный.

– Что значит – духовный?

– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство…

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

«Мутноокой ночью сижу я – как сыч в дупле – в номерах, в нищем городе Свияжске, а – осень, октябрь, ленивенько дождь идет, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без конца песня: о-о-о-у-у-у…

…И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах – обманная чистота души. „Милый, – говорит честным голосом, – не виновата я против тебя“. Знаю – врет, а верю – правда! Умом – твердо знаю, сердцем – не верю, никак!»

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова – яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, – этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:

– Этот царь в своем деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа – неожиданно для читателя – становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще – о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда – трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две, три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы – это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колес пароходов, надсадно, волками воют матросы на караване барж, где-то бьет молот по железу, заунывно тянется песня, – тихонько тлеет чья-то душа, – от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей, – люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка – не жадно – пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

– А вот со мной был случай, – говорит кто-то, придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

– Бывает и так, – все бывает…

«Было», «бывает», «бывало» – слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни, – все уже было, больше ничего не будет!

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но все-таки – нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречен. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьезных книг – они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые

впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова, собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них – Гурий Плетнев. Смуглый, синеволосый, как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порохом, неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы, – все в жизни было для него ново, приятно, все возбуждало в нем шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, веселой трущобе – «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это – все. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:

– Хлеба!

В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему

приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:

– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

– К черту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

– Эвклид – дурак! Дур-рак… Я докажу, что Бог умнее грека!

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет – исходя от математики – доказать бытие Бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнев работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места – по возрасту.

Плетнев и я спали на одной и той же койке, я – ночами, он – днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил веселыми шутками,

игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые, сизые щеки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни!

Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын ее был уже студент на третьем курсе, дочь – кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в темных ямах, одета она в черное платье, в шелковую старомодную головку, в ее ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зеленого цвета. <…>

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент,

громко декламировал спившийся, полубезумный актер, истерически орали похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

«Зачем все это?»

Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скулатый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:

– Жив быть не хочу, а – разорю их вдребезги! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу: «Что, черти? То-то!»

– Это – цель твоей жизни, Конь? – спрашивали его.

– Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу!

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шумные пиры, приглашая студентов, швеек – всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам Рыжий Конь пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темно-рыжие пятна, – выпив, он завывал:

– Милые вы мои птицы! Люблю вас – честный вы народ! А я – злой подлец и кр-рокодил, – желаю погубить родственников и – погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а…

Глаза Коня жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям, – шаровары его всегда были в масляных пятнах.

– Как вы живете? – кричал он. – Голод, холод, одежа плохая, – разве это – закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете…

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

– Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

– Да это – не вам! Это – студентам.

Но студенты денег не брали.

– К черту деньги! – сердито кричал сын скорняка.

Он сам однажды, пьяный, принес Плетневу пачку

десятирублевок, смятых в твердый ком, и сказал, бросив их на стол:

– Вот – надо? Мне – не надо…

Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно – они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате, с окнами в каменную стену соседнего дома, тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орет всех громче. Я спрашиваю его:

– Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?

– Милый – для души! Тепло душе с вами…

Сын скорняка подтверждает:

– Верно, Конь! И я – тоже. В другом месте я бы пропал…

Конь просит Плетнева:

– Сыграй! Спой…

Положив гусли на колени себе, Гурий поет:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное…

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

– Хорошо, черт! – ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой – веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше – любили его, похуже – боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки» – «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной, на последней, недалеко от ворот нашего жилища, приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это – старший городовой в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него – умное, улыбка – любезная, глаза – хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей; несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя зоологического сада в клетки зверей. Зимою в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их – а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то – за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов, днем, в воскресенье, пришли воровать шрифты в типографию Ключникова на бойкой улице города. За этим делом их и схватили. А однажды ночью в «Марусовке» был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал Блуждающей Колокольней. Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне:

– Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее…

Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:

– Смотри – осторожнее! Может быть, там сыщики…

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами; он лудил кастрюлю, но – был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

– Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

– У нас – есть, а для тебя – нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, – он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

– Ступай, ступай…

Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу.

– Вы – Тихон?

– Ну, да!

– Петра арестовали.

Он нахмурился сердито, щупая меня глазами.

– Какого это Петра?

– Длинный, похож на дьякона.

– Ну?

– Больше ничего.

– А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? – спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах «конспиративных».

Гурий Плетнев был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел говорил:

– Тебе, брат, рано! Ты – поучись…

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

– Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: «Я приезжий…»

Таинственное – всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный, яркий день, в поле серою былинкой качается одинокий человечек, – вот и все. Догнав его у ворот кладбища, я увидал пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нем было что-то преждевременно ощипанное, – как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь, не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им, я согласился, и мы расстались, – он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Джон Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Мидовского, – впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством, – как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для «равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Милля не увлекало меня, скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне, я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высиживал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал прийти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя; едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул ее наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные, ласковые люди; они говорят смешно искаженным русским языком; по вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов, – мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое; мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный

пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

– Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в черную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

– Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С Богом – начинай!

И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, – с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятие женщины.

Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий, – должно быть, хозяин груза или доверенный его, – вдруг заорал возбужденно:

– Молодчики – ведерко ставлю! Разбойнички – два идет! Делай!

Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рявкнули:

– Три ведра!

– Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы еще усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и все вокруг завертелось в бурной

пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя, – месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут еще ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца – его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжелой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень.

– Шабаш! – крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

– Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

– Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно:

– Дурак. И – хуже того – идиёт!

Посвистывая, виляя телом, как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, – за ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню:

Эх, было это дельце ночною порой, —
Вышла прогуляться в садик барыня – эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит,
Видит – барыня лежит…

Хохот, свист, и гремят слова, которым, по отчаянному цинизму, вероятно, нет равных на земле. <…>

Вопросы и задания

1. Что меняется в понимании окружающей жизни Алешей Пешковым с каждым новым днем, с каждым новым событием? Чем это вызвано? Как вы объясняете это для себя?

2. Влияние какого человека на Алешу Пешкова было самым сильным?

3. Опишите одного из тех, кто, по вашему мнению, определил дальнейшую жизнь Алеши.

4. Найдите описание труда на барже. Какую оценку восторженному рассказу Алеши об этом труде дал вор Лапшин? Что вы могли бы ему ответить? Возникло ли у вас желание ему возразить?

▶▶▶1. Горький утверждал, что «человека создает его сопротивление окружающей среде». Докажите это, пользуясь текстом повести.

2. Объясните смысл названия повести, опираясь на свидетельство одного из современников: «За полудетское революционное озорство я был уволен из гимназии и не без гордости рассказал об этом Горькому.

– Молодчага, – одобрил он, – так ты, пожалуй, скоро и в университет попадешь.

Я удивился, но, рассмеявшись, Горький пояснил, что имеет в виду не тот университет, в котором читают лекции, а тот, в котором построены одиночные камеры с решетками на окнах, и прибавил:

– Этот будет почище!

Заглавие его будущей книги было произнесено».

3. Каким вы представляете себе автора повести – Алексеем Пешковым или Максимом Горьким? Важно ли для вас это различие?

Александр Александрович Блок (1880–1921)

Сладкозвучие его лирики было чрезмерно… В безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им заключалось… очарование Блока…

К. И. Чуковский

«Трагический тенор эпохи» – назвала Блока Анна Ахматова, определив этим две важные стороны его мироощущения: трагическое начало и необычайное, музыкальное чувство времени.

Благородство и красота были присущи внутреннему и внешнему облику Блока. «…Красивый, стройный юноша, со светлыми вьющимися волосами, с большими мечтательными глазами и с печатью благородства во всех движениях» – таким остался он в памяти А. И. Менделеевой, матери его будущей жены. Почти все, знавшие его, отмечали необычность, романтичность его облика.

Два места в России были поэту родиной: Петербург («город неуловимый»), где он родился 16 ноября 1880 года, и подмосковное Шахматово. «Шахматовские просторы и стали колыбелью любви поэта к Родине», – писала М. А. Бекетова, его тетя и будущий биограф.

Духовный мир Блока формировался в семье, хранившей культурные традиции русской интеллигенции: дед А. Н. Бекетов, «отец русской ботаники», был ректором Петербургского университета, мать А. А. Блок и бабушка Е. Г. Бекетова, широко образованные женщины, занимались переводами. «Прекрасная семья. Гостеприимство стародворянское, думы – светлые, чувства – простые и строгие», – пишет Блок в «Автобиографии». Жуковский, Полонский, Майков, Фет, А. К. Толстой были его первыми духовными учителями. «Сочинять я стал чуть ли не с пяти лет», – вспоминает поэт.

Начало XX века. Московские молодые поэты А. Белый, Вяч. Иванов, С. Соловьев восторженно приняли стихи А. Блока. «Все события, – писал поэт Валерий Брюсов, – все, происходившее вокруг, эти юноши воспринимали как таинственные символы, как прообразы чего-то высшего, и во всех явлениях повседневной жизни старались разгадать их мистический смысл».

В 1904 году увидела свет книга Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Таинственный образ Вечной Женственности (влияние поэта и философа Вл. Соловьева), полная драматизма любовь к Л. Д. Менделеевой, будущей жене, «мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового

века», – все это воплотилось в лирических произведениях сборника.

В поэтический мир Блока со временем входят новые темы, новые образы: поэт откликается на общественные события (стихотворения «Фабрика», «Сытые»). Чуткость его поэзии ко времени была необычайна.

В период между двумя революциями созданы наиболее значительные произведения поэта: стихотворения «Незнакомка», «Заклятие огнем и мраком…», «На железной дороге», «Россия», цикл «На поле Куликовом» и другие, поэма «Соловьиный сад», ряд публицистических и критических статей.

Для стихов Блока становятся характерны тревожные ритмы. Тема столкновения героя, носителя светлых идеалов, со страшным миром действительности, в котором не дано торжествовать добру, свету и гуманизму, – главная в творчестве поэта на исходе 900-х годов.

Спасительным полюсом для поэта была Россия. Образ России проявляется в стихах Блока постепенно: она будто открывает то один свой лик, то другой. Но одно сильное чувство пронизывает весь поэтический мир – безоглядная любовь к Отечеству. Это проявляется уже в первых стихах о России («Осенняя воля», «Россия»). Родина для Блока все – «жизнь или смерть, счастье или погибель».

Ожидание очистительной бури, сметающей старый, ненавистный поэту мир, определило отношение Блока к революции: «Всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию».

Откликом на события 1917 года явилась поэма «Двенадцать», а вслед за ней стихотворение «Скифы», главное содержание которого составляет мысль о революции как знаке «мира и братства народам».

Последние годы жизни поэта были драматичны: он выглядел бесконечно усталым и надломленным. Кровью сердца купил Блок свое понимание революции как сжигающей стихии. Он осознавал – если у поэта отнимают «творческую волю, тайную свободу», то «поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Да, я дышу еще мучительно и трудно.
Могу дышать. Но жить уж не могу.

Девушка пела в церковном хоре…

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Незнакомка

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»[7] кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

О доблестях, о подвигах, о славе…

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутясь проклятым роем…
Вино и страсть терзали жизнь мою…
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою…

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла…

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

О, я хочу безумно жить…

О, я хочу безумно жить:
Все сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!

Россия

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи…

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…

Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей…
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,

Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

На железной дороге

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон…

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом…

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною…
Скользнул – и поезд вдаль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая…
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая…

Да что – давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов…

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей – довольно;

Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена – все больно.

Вопросы и задания

▸1. Чему посвящено стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе…»? Как соотносится первая строка с темой стихотворения?

2. Прочитайте стихотворение «О, я хочу безумно жить…». Какие чувства и желания являются для поэта самыми волнующими, сокровенными? Какие принципы, по убеждению Блока, должны быть определяющими для искусства, творчества?

3. Как удается Блоку передать чувство любви к Родине в стихотворении «Россия»?

4. Какие два лика России созданы в одноименном стихотворении Блока? Как определяет поэт свое отношение к Родине?

▸▸1. С каким некрасовским стихотворением перекликается стихотворение «На железной дороге»? Почему стихотворение «На железной дороге» входит в цикл «Родина»?

2. Попытайтесь определить термин «музыкальность», характеризующий поэзию Блока. Какие изобразительно-выразительные средства поэтической речи способствуют созданию «музыкального стиха»?

▸▸▸1. Сравните женские образы в стихотворениях «Девушка пела в церковном хоре…» и «Незнакомка».

2. Почему некоторые исследователи рассматривают стихотворение «О доблестях, о подвиге, о славе…» как поэтическую параллель пушкинского стихотворения «Я вас любил…»? С помощью каких художественных средств создается Блоком женский образ? Какова символика синего цвета в стихотворении?

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966)

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не

плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И непохожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыхание,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

Этот портрет, написанный с большим сходством в 1913 году, принадлежит самой Анне Андреевне Ахматовой. Вместе с другими ее изображениями, созданными известными художниками, он зрительно дополняет представление о «златоустой Анне всея Руси», как называла ее М. Цветаева.

В автобиографии Ахматова лаконично отмечает наиболее важные моменты своей жизни: первые воспоминания о великолепных царскосельских парках, сильное впечатление, оставленное древним Херсонесом, обучение чтению по азбуке Льва Толстого, первое стихотворение, написанное в одиннадцать лет, первое знакомство с русской поэзией – поэзией Державина и Некрасова. Потом уже открылся Пушкин, беззаветная любовь и удивление им прошли через всю ее жизнь.

Одно из ранних стихотворений Ахматовой обращено к Пушкину и Царскому Селу, где она провела свое детство и юность.

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных, глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

Там она познакомилась со своим будущим мужем Николаем Гумилевым, тоже учившимся в Царскосельской гимназии.

Ряд стихотворений в первых сборниках Ахматовой «Вечер» (1911) и «Четки» (1914) навеяны ее чувствами к Гумилеву.

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой веселый.
Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок,
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.

После революции творческая судьба Ахматовой сложилась драматично. В начале 20-х годов были опубликованы две книги стихов: «Подорожник» (1921) и «Anno Domini» (1922). О сборнике «Anno Domini» замечательно отозвался литературовед Виктор Шкловский: «Это как будто отрывки из дневника. Странно и страшно читать эти записи. Я не могу цитировать в журнале эти стихи. Мне кажется, я выдаю чью-то тайну».

С 1924 года ее стихотворения перестали печатать вплоть до 1939 года, а изданные произведения подвергались необоснованной критике. Долгое время в печати не появлялись ни новые, ни старые ахматовские стихи. Она занималась в эти годы изучением творчества Пушкина, архитектурой Петербурга, переводами.

Затем наступила следующая эпоха творческих репрессий.

Поэт Михаил Дудин вспоминает: «…в ее жизни было много тяжелого, трагического… Но никогда, ни в одной из ее книг я не находил отчаяния и растерянности. Никогда не видел ее с поникшей головой. Она всегда была прямой и строгой, была человеком воистину неземного великого мужества… Души высокая свобода, которой она обладала, давала ей возможность не гнуться под любыми ветрами клевет и предательств, обид и несправедливостей».

И только на рубеже 50–60-х годов поэтическое имя Ахматовой было реабилитировано в общественном мнении. В 1964 году она удостоена международной премии «Этна-Таормина» в Италии, в 1965 году получила докторскую степень в Оксфорде. В «Беге времени» (1965), последнем прижизненном сборнике Ахматовой, впервые относительно полно представлено

ее позднее творчество. Немало произведений увидели свет лишь в конце 80-х годов.

Анна Андреевна Ахматова создала удивительную лирическую систему в русской поэзии, соединив своим творчеством новую поэзию XX века с великой поэзией XIX столетия.

Сжала руки под темной вуалью…

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!

Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»

Это песня последней встречи.

Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Сероглазый король

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля…»

Он любил три вещи на свете…

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

Уединение

Так много камней брошено в меня,

Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Строителей ее благодарю,
Пусть их забота и печаль минует.
Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует.
И часто в окна комнаты моей
Влетают ветры северных морей,
И голубь ест из рук моих пшеницу…
А недописанную мной страницу —
Божественно спокойна и легка,
Допишет Музы смуглая рука.

Муза

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что́ почести, что́ юность, что́ свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.

Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Родная земля

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно – своею.

Вопросы и задания

▶1. Прочитайте стихотворения «Сжала руки под темной вуалью…», «Сероглазый король». Каким настроением проникнуты эти стихи? Какие художественные приемы использует автор?

▶▶1. Прочитайте строки из записных книжек Ахматовой, в которых говорится о назначении и месте поэта в обществе: «Но в мире нет власти грозней и страшней, Чем вещее слово поэта»; «Поэт не человек – он только дух – Будь слеп он, как Гомер, иль, как Бетховен, глух – Все видит, слышит, всем владеет…»

Каким Ахматова видит предназначение поэта?

2. Прочитайте стихотворения «Уединение», «Муза». Каким вы видите образ Музы в поэзии Ахматовой?

3. Прочитайте стихотворение «Родная земля». Определите его тональность. Какие мотивы вы можете выделить в этом стихотворении? Какие разные значения слова «земля» звучат в нем? Какая тема обозначена в последних строчках?

▶▶▶1. Что значит любовь для лирической героини Ахматовой?

2. К. Чуковский писал: «Тихие, еле слышные звуки имеют для нее неизреченную сладость. Главное очарование ее лирики не в том, что сказано, а в том, что не сказано. Она мастер умолчаний, намеков, многозначительных пауз. Ее умолчания говорят больше слов. Для изображения всякого, даже огромного чувства, она пользуется мельчайшими, почти неприметными, микроскопически малыми образами, которые приобретают у нее на страницах необыкновенную силу». Выскажите ваши впечатления от знакомства с лирикой Ахматовой.

3. Поэт Михаил Кузмин назвал поэзию Ахматовой «острой и хрупкой». Как вы поняли это определение?

Сергей Александрович Есенин (1895–1925)

Есенинская любовь к родной земле естественна, как дыхание. Она – свет, который изнутри освещает почти каждое его стихотворение в отдельности и всю его поэзию в целом. Это не просто чувство – это философия жизни, краеугольный камень его миропонимания. Это его опора, источник, где он черпал силу.

С. П. Кошечкин

Сергей Есенин родился в деревне Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Мир народнопоэтических образов окружал его с первых дней жизни. Рязанская земля была страной его детства. И костер зари, и плеск волн, и шелест тростника, и необъятная небесная синь, и голубая гладь озер – вся красота родного края с годами отразилась в стихах, полных любви к русской земле:

О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску…

Первые стихотворные строки были написаны в школьные годы, а в 1916 году вышел в свет его поэтический сборник «Радуница».

Поэт считал, что его литературная дорога началась «с легкой блоковской руки». «Был он для меня словно икона… Приду и скажу: вот я, Сергей Есенин, привез вам мои стихи. Вам только одному и верю. Как скажете, так и будет». В дневнике Блока 9 марта 1915 года появилась запись: «Днем у меня рязанский парень со стихами. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык».

В 1915–1916 годах Есенин создает стихи, в которых воплотились важнейшие черты всей его лирики: бесконечная любовь к России и родной Рязанщине, чувство общности со всем живым на земле.

Октябрьскую революцию поэт принял, как он сам признавался, «с крестьянским уклоном». Поэта захватывает вихревое начало, вселенский, космический размах событий, грядущие изменения в России. «Весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрем», – вспоминал позже поэт Петр Орешин. Художественный стиль Есенина этого времени отмечает высокая патетика, метафоричность образов. Стремясь отозваться на революционные события, он обращается к мифологии, библейским легендам.

Однако довольно скоро Есенин начал понимать: ни космической революции, ни мужицкому раю не суждено осуществиться. В одном из писем поэта 1920 года читаем: «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал… Тесно в нем живому». Эти настроения со временем усиливаются.

Высшим смыслом, стержнем лирики Есенина явилась тема России. «Моя лирика жива одной большой любовью к родине. Чувство родины – основное в моем творчестве», – говорил Есенин.

В трудные для Есенина дни, чтобы лучше понять настоящее, он обращается к тем событиям прошлого, которые кажутся ему созвучными настоящему времени. Так, в 1921 году написана драматическая поэма «Пугачев», в которой создан образ мужицкого бунтаря, а в 1924 году во многом автобиографическая поэма «Анна Снегина», лирическая струя которой входит в широкую историческую тему. Под поэмой «Черный человек» стоит дата «14 ноября 1925» – немногим более месяца осталось жить поэту. Поэма, по признанию ее автора, написана под влиянием маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (где, как известно, пришедший к Моцарту незадолго до его смерти черный человек заказывает композитору реквием).

Стихотворения последних лет жизни наполнены трагическим пафосом. Один из современников вспоминал о вечере 1924 года, где выступал Есенин: «Стихи его ударяли по сердцам лихостью отчаяния, бились безысходной нежностью и безудержной решимостью защищать кулаками и кровью свое право на печаль, песню и гибель».

Гой ты, Русь, моя родная…

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогором
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Я покинул родимый дом…

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клен
Головой на меня похож.

Не жалею, не зову, не плачу…

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым,
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Отговорила роща золотая…

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком…
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.

Низкий дом с голубыми ставнями…

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые стареньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года…
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

Я иду долиной. На затылке кепи…

Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синеет тихая река.

Я – беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни – сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы, —
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?

На земле милее. Полно плавать в небо.
Как ты любишь долы, так бы труд любил.
Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?
Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка —
Но косой выводят строчки хоть куда.
Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.

Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках – песня, в этих строчках – слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.

Спит ковыль. Равнина дорогая…

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Вопросы и задания

▸1. Какой образ Руси возникает в стихах поэта? Почему стихотворения последних лет носят трагический оттенок?

2. Каков лирический герой есенинской поэзии? Как в нем сочетаются «смиренный инок» и «грешник», «бродяга и вор»?

▸▸1. С помощью каких художественных приемов Есенин дает почувствовать красоту и животворящую силу природы?

2. По свидетельству С. А. Толстой, С. Есенин написал стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…» под влиянием одного из лирических отступлений «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, которое заканчивалось словами: «…что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчанье хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!» Выскажите ваше суждение.

3. Проанализируйте стихотворение «Отговорила роща золотая…». Какие образы созданы в стихотворении?

4. Как использует Есенин изобразительные средства языка для создания поэтических образов?

▸▸▸1. Что объединяет в понятие Родины Есенин?

2. Литературовед К. А. Кедров отмечает три основных цвета в поэзии Есенина: алый, синий, золотой. Покажите использование этих цветов и раскройте их символическое значение.

3. В каких стихотворениях, прочитанных вами, поэт размышляет о земном пути человека?

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930)

Я – поэт, тем и интересен.

В. В. Маяковский

Маяковский родился и вырос в Грузии. После смерти отца семья переехала в Москву, с которой связана почти вся творческая жизнь поэта.

С момента своего появления в кругу поэтов Маяковский возмущал, волновал, потрясал. Вот как воспринял первую встречу с ним один из современников поэта, Б. Лифшиц: «…пришел высокого роста темноглазый юноша… Одетый не по сезону в черную морскую пелерину со львиной застежкой на груди, в широкополой черной шляпе, надвинутой на самые брови, он казался членом сицилианской мафии, игрою случая заброшенным

на петербургскую сторону.

Его размашистые, аффектированно резкие движения, традиционный для всех оперных злодеев басовый регистр еще усугубляли сходство двадцатилетнего Маяковского с участником разбойничьей шайки или с анархистом-бомбометателем… Однако достаточно было заглянуть в умные, насмешливые глаза… чтобы увидеть, что все это – уже поднадоевший „театр для себя“, которому он, Маяковский, хорошо знает цену и от которого сразу откажется, как только найдет более подходящие формы своего утверждения в мире».

М. Горький, впервые увидев и услышав Маяковского в кафе «Бродячая собака» в Петрограде, сказал: «Зря разоряется по пустякам! Такой талантливый! Грубоват? Это от застенчивости…»

Все произведения Маяковского – это рассказ о времени и о себе. Необычность содержания, ошеломляющая новизна формы потрясали не только современников, они и сейчас вызывают противоречивые отзывы читателей. Непросто войти в мир образов поэта, проникнуться его надеждами и горестями. Он может быть близок своим неприятием циничного и пошлого мира, искренностью соучастия ко всему, что происходит вокруг, силой и яростью отстаивания своих взглядов, сокрушительной силой любви.

Маяковский мог быть несправедливым, он бывал даже резким в своих суждениях, но всегда был искренен и абсолютно индивидуален каждой своей строкой, каждым своим словом.

Встреча с поэзией Маяковского – встреча с чем-то необычным. Его творчество – явление в мире искусства. Лирические стихотворения, поэмы, пьесы, плакаты в окнах РОСТА – это то, что дано поэту талантом и кропотливой изнурительной работой.

Послушайте!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,

просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Вопросы

1. Что должны услышать читатели в стихотворении? Могли бы вы назвать героев этого стихотворения?

1. Можно ли считать, что «кто-то» – это и есть лирический герой стихотворения, а звезды – воплощение его мечты?

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,

и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь, полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

Вопросы

1. Каких героев стихотворения вы можете назвать?

2. Почему геликон назван «меднорожим»? (*Геликон* — басовый медный духовой инструмент.) Как вы представили себе этого героя?

1. Оркестр, некоторые инструменты которого названы в стихотворении, – коллективный свидетель лирической сценки.

Сходная ситуация возникает в баснях. Почему мы утверждаем, что перед нами лирическое стихотворение?

Задания

▶1. Анализируя прочитанные стихотворения Маяковского, определите общность тем и настроений.

▶▶1. Выразите свои впечатления, возникшие при первом знакомстве с этими стихотворениями (необычность названий, образов, ритмики).

▶▶▶1. Попробуйте доказать, что оба стихотворения созданы молодым поэтом примерно в одно время.

Нередко в лирике Маяковского звучит тема трагического одиночества. Это чувство вызывало стремление найти единомышленников, подчинить себе аудиторию многочисленных митингов и поэтических концертов, привлечь тех, кто хотел бы стать рядом. Маяковский стремился быть «горланом-главарем», он искал и покорял слушателей. Вот как К. Чуковский описывает встречу Маяковского с художником И. Репиным. «…Репин, присев к столу, просит, чтобы Маяковский продолжил свое чтение… Маяковский начинает своего „Тринадцатого апостола“ (так называлось тогда „Облако в штанах“) с первой строки. На лице у него вызов и боевая готовность…

Я жду от Репина грома и молнии, но вдруг он произносит влюбленно:

– Браво, браво!..

„Тринадцатый апостол“ дочитан до последней строки. Репин просит: „Еще“. Маяковский читает и „Кофту фата“, и отрывки из трагедии, и свое любимое „Нате!“:»

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир…

«Репин восхищается все жарче. „Темперамент! – кричит он. – Какой темперамент!“ И, к недоумению многих присутствующих, сравнивает Маяковского с Мусоргским…»

Молодой Маяковский был опытным оратором и полемистом. Выступая с чтением своих произведений, отстаивая свои позиции, он щедро использовал каламбуры и экспромты, эпиграммы и остроты. Некоторые из них запомнились современниками:

«– Маяковский! Вы считаете себя пролетарским поэтом-коллективистом, а всюду пишете: я, я, я.

– А как вы думаете, Николай Второй был коллективистом? Он всегда писал: „Мы, Николай Второй…“»

«– Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас скоро забудут. Бессмертие не ваш удел.

– А вы зайдите через тысячу лет. Там поговорим».

В 20-е годы поэт со всей своей неукротимой энергией борца стал участником коренного переустройства общества. Голос Маяковского воспевает «коммуну во весь горизонт» и в то же время сатирически остро клеймит недостатки и пороки, которые поэт видит вокруг.

Прозаседавшиеся

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные!
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
Объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —

голо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?»
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

Вопросы и задания

▸1. Опишите блуждания героя этого стихотворения в бюрократическом мире. Сколько сценок рисует поэт, описывая это трагикомическое путешествие?

▸▸1. В стихотворении «Прозаседавшиеся» есть слова и выражения, которые тесно связаны со временем его создания, но есть и такие, которые имели давнюю традицию использования в речи. Определите, какие из приведенных ниже слов вы отнесете к каждой из групп.

Аудие́нция — официальный прием у высокопоставленного лица.

Со времени о́на — с давних пор.

Тео — театральный отдел Народного комиссариата просвещения.

Гукон — Государственное управление конезаводством.

Оря́ — деепричастие от глагола «орать».

2. Какие названия существовавших тогда учреждений использовал поэт? Можно ли считать, что эти названия – сатирические образы стихотворения?

3. Попробуйте объяснить, как возникло название таинственного учреждения: «А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-ком».

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940)

Проза и драматургия для меня –
правая и левая рука пианиста.

М. А. Булгаков

Михаил Булгаков точно определил пропорции в своем творчестве – он равно тяготел и к прозе, и к драматургии. Столь же четко определил он начало своего творческого пути: 15 февраля 1920 года. Когда врач Булгаков окончательно решил стать писателем, ему было 28 лет.

Судьба будущего писателя вначале складывалась счастливо. Благополучное детство в дружной семье. Дом на Андреевском спуске в Киеве, шкафы с книгами – это то, что он прежде всего вспоминал о родном доме.

Жизненные испытания не изменили взгляда Булгакова на жизнь: внимательного, зоркого, строгого. Отец рано умер, и Миша в 16 лет остался старшим мужчиной в доме, первая его специальность заставила столкнуться с тяжелыми сторонами жизни человека в сельской больнице села Никольское

Смоленской губернии. Вернувшись в Киев, он продолжает работать врачом. Но врач видел мир глазами будущего писателя: недаром он с девяти лет зачитывался Гоголем, а в семь лет сочинил свой первый рассказ.

После трудных месяцев в Киеве, после службы по мобилизации во Владикавказе Булгаков решает круто изменить свою судьбу: он становится писателем. Когда во Владикавказе в феврале 1920 года начала выходить газета «Кавказ», в списке ее сотрудников значился М. Булгаков.

События этих лет живут на страницах его автобиографической прозы.

В «Записках на манжетах» во второй части, названной «Москва», Булгаков пишет о поисках своего места в литературе. Убедиться в этом можно, прочитав главу, которая названа очень решительно «После Горького я первый человек».

Для судьбы целой плеяды ярких и самобытных писателей чрезвычайно полезной оказалась работа в газете железнодорожников «Гудок». «Тогда Булгаков был рядовым газетным фельетонистом», – вспоминает Валентин Катаев, среди сотрудников газеты были И. Ильф и Е. Петров, Ю. Олеша, К. Паустовский. Они, прежде чем утвердиться в рядах писателей, «низвергали авторитеты», а «синеглазый», как называли Булгакова, строго их за это отчитывал, что, впрочем, не мешало дружбе.

Булгаков много пишет, активно входит в литературную среду, читает на литературных вечерах свои произведения.

Можно считать, что в жизни Булгакова 1925–1929 годы – относительная полоса удач. Писателя заметили. Однако и это время не было безоблачным. 7 мая 1926 года на квартире писателя был произведен обыск: изъяты машинописный вариант «Собачьего сердца» и личный дневник, которые были возвращены лишь через несколько лет.

Начиная с 1929 года и по день смерти – в течение 11 лет Булгаков не увидел ни одной напечатанной своей строчки, хотя продолжал создавать новые произведения. Главным из них был роман «Мастер и Маргарита».

Вопросы и задания

1. Какие пьесы Булгакова и какие прозаические произведения вам знакомы?

2. Среди ранних произведений Булгакова есть «поэма в десяти пунктах с прологом и эпилогом» «Похождения Чичикова».

Вы помните, что поэма Гоголя названа «Похождения Чичикова, или Мертвые души». О чем может говорить различие названий произведений Гоголя и Булгакова?

⏩1. Известно, что Булгаков инсценировал многие прозаические произведения.

«Мертвые души». Комедия по поэме Н. В. Гоголя в четырех актах (двенадцать картин с прологом).

«Дон Кихот». Пьеса по роману Сервантеса в четырех действиях, девяти картинах.

«Война и мир». Инсценированный роман Л. Н. Толстого в четырех действиях (тридцать сцен).

Премьера «Мертвых душ» состоялась во МХАТе в 1932 году, «Дон Кихот» был поставлен в Государственном академическом театре им. А. С. Пушкина в Ленинграде в 1941 году. «Война и мир» на сцене не ставилась. Попробуйте обосновать выбор произведений для создания инсценировок.

2. На сцене многих театров шли и идут сейчас такие пьесы, как «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Бег», «Кабала святош (Мольер)», «Последние дни (Пушкин)», «Полоумный Журден» (Мольериана в трех действиях), «Багровый остров» и другие. Какие из них вам удалось посмотреть? Как вы их восприняли?

3. Какие прозаические произведения Булгакова были переработаны для постановки на сцене? Какие из них вы видели? «Собачье сердце» было создано в телевизионном варианте и в нескольких сценических постановках. Как вы объясняете популярность этого произведения в наше время?

Мертвые души. ***Комедия по поэме Н. В. Гоголя в четырех актах (двенадцать картин с прологом). В сокращении***

Пролог

Первый. …и увернулся из-под уголовного суда! Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему. Удержалось у него тысячонок десяток, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, да два крепостных человека: кучер Селифан и лакей Петрушка. Вот в каком положении очутился герой наш!.. и съежился он, и опустился в грязь и низменную жизнь. (*Пауза.*) Но надобно отдать справедливость непреодолимой силе его характера… В нем не потухла непостижимая страсть к приобретению!..

Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян…

> <…> Занавес открывается, слышен звон гитар. Отдельная комната в трактире в столице. Ужин. Свечи. Шампанское. Из соседней комнаты доносятся звуки кутежа. Поют: «Гляжу как безумный на черную шаль, и хладную душу терзает печаль…»

Чичиков. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, почтеннейший. (*Наливает Секретарю шампанское.*)

Секретарь. То-то бесчисленны. Попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует. Имение-то ведь расстроено в последней степени. Кто же возьмет его в заклад?

Чичиков. Зачем же быть так строгу, почтеннейший? Расстроено скотскими падежами, неурожаями, плутом-приказчиком.

Секретарь. Гм…

> Доносится хохот. Стальной бас поет: «С главы ее мертвой сняв черную шаль! Отер я безмолвно кровавую сталь!»…
>
> Чичиков вынимает взятку и вручает ее Секретарю.

Секретарь. Да ведь я не один в совете, есть и другие.

Чичиков. Другие тоже не будут в обиде. Я сам служил, дело знаю.

Секретарь. Хорошо! Дайте бумаги.

Чичиков. Но только вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян в этом имении вымерла, так чтобы не было потом каких-нибудь привязок.

Секретарь (*хохочет*). Вот так имение! Мало того, что запущено, и люди вымерли!..

Чичиков. Уж, почтеннейший…

Секретарь. Ну, вот что: по ревизской-то сказке… они числятся?

Чичиков. Числятся.

Секретарь. Ну, так чего ж вы оробели? Один умер, другой родится, а все в дело годится… (*Берет у Чичикова бумаги.*) <…>

Чичиков (*вдруг изменившись в лице*). А-а!!..

Секретарь. Чего?

Чичиков. Ничего. <…>

Половой подает счет. Чичиков бросает ему деньги.

Еду!!.

Занавес

Акт первый

Картина вторая

Гостиная в доме Губернатора. За портьерой карточная комната. Издалека доносятся клавикорды.

Выплывает **Губернаторша, Губернатор и Дочка. Председатель, Почтмейстер и Чичиков** кланяются.

<…> **Манилов.** Как вам показался наш город?

Чичиков. Очень хороший город, общество самое обходительное.

Манилов. Удостоили нас посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение. Майский день, имянины сердца.

Чичиков. Помилуйте, ни громкого имени не имею, ни ранга заметного!

Манилов. О, Павел Иванович!.. Как вы нашли нашего губернатора? Не правда ли, препочтеннейший человек?

Чичиков. Совершенная правда, препочтеннейший человек.

Манилов. Как он может этак, знаете, принять всякого. Наблюсти деликатность в своих поступках.

Чичиков. Очень обходительный человек, и какой искусник – он мне показывал своей работы кошелек. Редкая дама может так искусно вышить.

Манилов. Но, позвольте, как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

Чичиков. Чрезвычайно приятный человек, и какой умный. Очень достойный человек.

Манилов. А какого мнения вы о жене полицеймейстера?

Чичиков. О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю.

Манилов. А председатель палаты, не правда ли?..

Чичиков (в *сторону*). О, скука смертельная? (*Громко.*) Да, да, да…

Манилов. А почтмейстер?

Чичиков. Вы всегда в деревне проводите время?

Манилов. Больше в деревне. Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете ли, взаперти. Павел Иванович, убедительно прошу сделать мне честь своим приездом в деревню.

Чичиков. Не только с большой охотой, но почту за священный долг.

Манилов. Только пятнадцать верст от городской заставы. Деревня Маниловка.

Чичиков (*вынимает книжечку, записывает*). Деревня

Маниловка.

Первый. …хозяйством он не занимается, он даже никогда не ездит на поля.

Собакевич (*внезапно, из портьеры*). И ко мне прошу.

Чичиков вздрагивает, оборачивается.

Собакевич.

Чичиков. Чичиков. Вас только что вспоминал председатель палаты Иван Григорьевич.

Садятся.

А прекрасный человек…

Собакевич. Кто такой?

Чичиков. Председатель.

Собакевич. Это вам показалось. Он только что масон, а дурак, какого свет не производил.

Чичиков (*озадачен*). Конечно, всякий человек не без слабостей. Но зато губернатор – какой превосходный человек.

Собакевич. Первый разбойник в мире.

Чичиков. Как, губернатор – разбойник? Признаюсь, я бы этого никак не подумал. Скорее даже мягкости в нем много. Кошельки вышивает собственными руками, ласковое выражение лица…

Собакевич. Лицо ласковое, разбойничье. Дайте ему только нож да выпустите на большую дорогу – он вышьет вам кошелек, он вас за копейку зарежет. Он да еще вице-губернатор – это Гога и Магога.

Первый. Нет, он с ними не в ладах! А вот заговорить с ним о полицеймейстере, он, кажется, друг его…

Чичиков. Впрочем, что до меня, мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакий характер прямой.

Собакевич. Мошенник. Я их всех знаю. Весь город такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один только…

Прокурор показывается за спиной Собакевича.

и есть порядочный человек – прокурор…

Прокурор улыбается.

да и тот, если сказать правду, свинья!

Прокурор скрывается.

Прошу ко мне! (*Откланивается.*)

В карточной взрыв хохота. Оттуда выходят **Губернатор, Полицеймейстер, Председатель, Прокурор и Почтмейстер.**

Председатель. А я ее по усам, по усам!..

Почтмейстер. Подвел под обух ее короля!..

Слуга. Ваше превосходительство, господин Ноздрев.

Губернатор (*тяжко*). Ох…

Прокурор. Батюшки, с одной только бакенбардой!

Ноздрев (*является, и следом за ним плетется Мижуев, оба явно выпивши*). Ваше превосходительство!.. Ба… ба… ба… И прокурор здесь? Здравствуй, полицеймейстер. (*Губернатору.*) Зять мой, Мижуев. А я, ваше превосходительство, с ярмарки к вам.

Губернатор. Оно и видно. Долго изволили погулять.

Ноздрев. Ваше превосходительство, зять мой, Мижуев.

Губернатор. Весьма, весьма рад. (*Откланивается, уходит.*)

Ноздрев. Ну, господа, поздравьте, продулся в пух. Верите, что никогда в жизни так не продувался!.. Не только убухал четырех рысаков, но, верите ли, все спустил! Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов. Зять мой, Мижуев.

Полицеймейстер. Что цепочка! А вот у тебя один бакенбард меньше другого.

Ноздрев (*у зеркала*). Вздор!

Председатель. Познакомься с Павлом Ивановичем Чичиковым.

Ноздрев. Ба-ба-ба… Какими судьбами в наши края? Дай я тебя расцелую за это! Вот это хорошо! (*Целует Чичикова.*) Зять мой, Мижуев. Мы с ним все утро говорили о тебе.

Чичиков. Обо мне?

Ноздрев. Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова.

Председатель захохотал, махнул рукой и ушел.

Но ведь как продулся! А ведь будь только двадцать рублей в кармане, именно, не больше, как двадцать, я отыграл бы все. То есть, кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас бы положил в бумажник.

Мижуев. Ты, однако ж, и тогда так говорил. А когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же и просадил их.

Ноздрев. И не просадил бы! Не сделай я сам глупость, не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать банк!

Полицеймейстер. Однако ж не сорвал?

Ноздрев. Ну, уж как покутили, ваше превосходительство! Ах, нет его… (*Почтмейстеру.*) Веришь ли, я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского.

Почтмейстер. Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь.

Ноздрев. Как честный человек говорю, что выпил.

Почтмейстер. Ты можешь говорить, что хочешь…

Мижуев. Только ты и десять не выпьешь!

Ноздрев (*Прокурору*). Ну, хочешь биться об заклад, что выпью?

Прокурор. Ну, к чему ж об заклад!..

Ноздрев (*Мижуеву*). Ну, поставь свое ружье, которое ты купил!

Мижуев. Не хочу.

Ноздрев. Да был бы ты без ружья, как без шапки. Брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было!..

Чичиков. Меня?!

Ноздрев. Тебя. Я знаю, что ты не расстался бы с поручиком Кувшинниковым.

Чичиков. Кто это Кувшинников?

Ноздрев. А штабс-ротмистр Поцелуев!.. Такой славный. Вот такие усы. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то что прокурор и все губернские скряги…

Полицеймейстер, Почтмейстер и Прокурор уходят.

Эх, Чичиков, ну что тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод этакий! Поцелуй меня, душа!

Мижуев уходит.

Мижуев, смотри, вот судьба свела. Ну, что он мне или я ему? Он приехал Бог знает откуда, я тоже здесь живу. Ты куда завтра едешь?

Чичиков. К Манилову, а потом к одному человечку тоже в деревню.

Ноздрев. Ну, что за человечек, брось его, поедем ко мне.

Чичиков. Нельзя, есть дело.

Ноздрев. Пари держу, врешь. Ну, скажи только, к кому едешь?

Чичиков. Ну, к Собакевичу.

Ноздрев захохотал.

Что ж тут смешного?

Ноздрев (*хохочет*). Ой, пощади, право, тресну со смеху.

Чичиков. Ничего нет смешного. Я дал ему слово.

Ноздрев. Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему. Ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку или добрую бутылку какого-нибудь бонбона. К черту Собакевича! Поедем ко мне, пять верст всего.

Первый. …а что ж, заехать, в самом деле, к Ноздреву, чем же он хуже других? Такой же человек, да еще и проигрался!

Чичиков. Изволь, я к тебе приеду послезавтра. Ну, чур, не задерживать, мне время дорого.

Ноздрев. Ну, душа моя, вот это хорошо! Я тебя поцелую за это. И славно. (*Целует Чичикова.*) Ура, ура, ура!

Заиграли клавикорды.
Занавес. <…>

Картина четвертая.

У Собакевича.

Первый. …Мертвые? Чичиков, садясь, взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, все греческие полководцы. Маврокордато в красных панталонах, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу! Между крепкими греками, неизвестно каким образом, поместился Багратион, тощий, худенький…

Чичиков. Древняя римская монархия, многоуважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как Русское государство, и иностранцы справедливо ему удивляются. По существующим положениям этого государства, ревизские души, окончивши жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. При всей справедливости этой меры, она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их вносить подати так, как бы за живой предмет. (*Пауза.*) Чувствуя уважение к вам, готов бы я даже принять на себя эту тяжелую обязанность в смысле… этих… несуществующих душ…

Собакевич. Вам нужно мертвых душ?

Чичиков. Да, несуществующих.

Собакевич. Извольте, я готов продать.

Чичиков. А, например, как же цена? Хотя, впрочем, это такой предмет… что о цене даже странно…

Собакевич. Да чтобы не запрашивать с вас лишнего – по сту

рублей за штуку.

Чичиков. По сту?!

Собакевич. Что ж, разве это для вас дорого? А какая бы, однако ж, ваша цена?

Чичиков. Моя цена? Мы, верно, не понимаем друг друга. По восьми гривен за душу – это самая красная цена.

Собакевич. Эх, куда хватили! По восьми гривенок. Ведь я продаю не лапти.

Чичиков. Однако ж согласитесь сами, ведь это тоже и не люди.

Собакевич. Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу?

Чичиков. Но позвольте. Ведь души-то самые давно уж умерли… Остался один не осязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше не могу.

Собакевич. Стыдно вам и говорить такую сумму. Вы торгуйтесь. Говорите настоящую цену.

Чичиков. По полтинке прибавлю.

Собакевич. Да чего вы скупитесь? Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня, что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев… Сам и обобьет и лаком покроет. Дело смыслит и хмельного не берет.

Чичиков. Позвольте!..

Собакевич. А Пробка Степан – плотник! Я голову прозакладаю, если вы где сыщете такого мужика. Служи он в гвардии, ему бы Бог знает что дали. Трех аршин с вершком росту! Трезвости примерной.

Чичиков. Позвольте!!

Собакевич. Милушкин, кирпичник! Мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник! Что шилом кольнет – то и сапоги, что сапоги – то и спасибо! И хоть бы в рот хмельного! А Еремей Сорокоплехин! В Москве торговал! Одного оброку приносил по пятисот рублей!

Чичиков. Но позвольте! Зачем же вы перечисляете все их качества?! Ведь это все народ мертвый!

Собакевич (*одумавшись*). Да, конечно, мертвые… (*Пауза.*) Впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими…

Чичиков. Да все же они существуют, а это ведь мечта.

Собакевич. Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете. Нашли мечту!

Чичиков. Нет. Больше двух рублей не могу дать.

Собакевич. Извольте, чтобы не претендовали на меня, что дорого запрашиваю, – семьдесят пять рублей, – право, только для знакомства.

Чичиков. Два рублика.

Собакевич. Эко, право, затвердила сорока Якова. Вы давайте настоящую цену.

Первый. …Ну, уж черт его побери. По полтине ему прибавь – собаке на орехи.

Чичиков. По полтине прибавлю.

Собакевич. И я вам скажу тоже мое последнее слово: пятьдесят рублей.

Чичиков. Да что, в самом деле! Как будто точно серьезное дело. Да я их в другом месте нипочем возьму.

Собакевич. Ну, знаете ли, что такого рода покупки… и расскажи я кому-нибудь.

Первый. Эк, куда метит, подлец!

Чичиков. Я покупаю не для какой-нибудь надобности… а так, по наклонности собственных мыслей… Два с полтиной не хотите, прощайте.

Первый. …«его не собьешь, не податлив», – подумал Собакевич.

Собакевич. Ну, Бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе.

Чичиков. Нет, я вижу – вы не хотите продать. Прощайте, Михаил Семенович.

Собакевич. Позвольте… позвольте… Хотите угол?

Чичиков. То есть двадцать пять рублей? Даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю.

Собакевич. Право, у вас душа человеческая все равно что пареная репа. Уж хоть по три рубля дайте.

Чичиков. Не могу.

Собакевич. Ну, нечего с вами делать, – извольте. Убыток, да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке?

Чичиков. Разумеется.

Собакевич. Ну, вот то-то же. Нужно будет ехать в город. Пожалуйте задаточек.

Чичиков. К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.

Собакевич. Все, знаете, так уж водится.

Чичиков. Не знаю, как вам дать… Да вот десять рублей есть.

Собакевич. Дайте, по крайней мере, хоть пятьдесят.

Чичиков. Нету.

Собакевич. Есть.

Чичиков. Пожалуй, вот вам еще пятнадцать. Итого двадцать пять. Пожалуйте только расписку.

Собакевич. Да на что ж вам расписка?

Чичиков. Не ровен час… Все может случиться…

Собакевич. Дайте же сюда деньги.

Чичиков. У меня вот они, в руке. Как только напишете расписку, в ту же минуту их возьмете.

Собакевич. Да позвольте, как же мне писать расписку? Прежде нужно видеть деньги… (*Написал расписку.*) Бумажка-то старенькая. А женского пола не хотите?

Чичиков. Нет, благодарю.

Собакевич. Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку.

Чичиков. Нет, в женском поле не нуждаюсь.

Собакевич. Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона.

Чичиков. Я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами.

Собакевич. Да уж само собой разумеется… Прощайте, благодарю, что посетили.

Чичиков. Позвольте спросить: если выехать из ваших ворот к Плюшкину – это будет направо или налево?

Собакевич. Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке. Скряга! Всех людей переморил голодом!

Чичиков. Нет, я спросил не для каких-либо… Интересуюсь познанием всякого рода мест. Прощайте. (*Уходит.*)

Собакевич, подобравшись к окну, смотрит.

Первый. …Кулак, кулак, да еще и бестия в придачу!..

Занавес

Акт второй

Картина пятая.

У Плюшкина.

Запущенный сад. Гнилые колонны. Терраса, набитая хламом. Закат.

Первый. …Прежде, давно, в лета моей юности, мне было

весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту. Все останавливало меня и поражало.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность, моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! О моя свежесть!

Слышен стук в оконное стекло.

Плюшкин показывается на террасе, смотрит подозрительно.

Чичиков (*идет к террасе*). Послушайте, матушка, что барин?

Плюшкин. Нет дома. А что вам нужно?

Чичиков. Есть дело.

Плюшкин. Идите в комнаты. (*Открывает дверь на террасу.*)

Молчание.

Чичиков. Что ж барин? У себя, что ли?

Плюшкин. Здесь хозяин.

Чичиков (оглядываясь). Где же?

Плюшкин. Что, батюшка, слепы-то, что ли? Эхва! А вить хозяин-то я.

Молчат.

Первый. …если бы Чичиков встретил его у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Но перед ним стоял не нищий, перед ним стоял помещик.

Чичиков. Наслышав об экономии и редком управлении имениями, почел за долг познакомиться и принести личное свое почтение…

Плюшкин. А побрал черт бы тебя с твоим почтением. Прошу покорнейше садиться. (*Пауза.*) Я давненько не вижу гостей, да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения, да и лошадей их корми сеном. Я давно уже отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсем развалилась, начнешь топить – пожару еще наделаешь.

Первый. …Вон оно как!

Чичиков. Вон оно как.

Плюшкин. И такой скверный анекдот: сена хоть бы клок в

целом хозяйстве. Да и как прибережешь его? Землишка маленькая, мужик ленив… того и гляди, пойдешь на старости лет по миру…

Чичиков. Мне, однако ж, сказывали, что у вас более тысячи душ.

Плюшкин. А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровый куш мужиков.

Чичиков. Скажите! И много выморила?

Плюшкин. До ста двадцати наберется.

Чичиков. Вправду, целых сто двадцать?

Плюшкин. Стар я, батюшка, чтобы лгать. Седьмой десяток живу.

Чичиков. Соболезную я, почтеннейший, соболезную.

Плюшкин. Да ведь соболезнование в карман не положишь. Вот возле меня живет капитан, черт знает откуда взялся, говорит – родственник. «Дядюшка, дядюшка» – и в руку целует. И как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, так вот он теперь и соболезнует.

Чичиков. Мое соболезнование совсем не такого рода, как капитанское. Я готов принять на себя обязанность платить подати за всех умерших крестьян.

Плюшкин (*отшатываясь*). Да ведь как же? Ведь это вам самим-то в убыток?!

Чичиков. Для удовольствия вашего готов и на убыток.

Плюшкин. Ах, батюшка! Ах, благодетель мой! Вот утешили старика… Ах, Господи ты мой! Ах, святители вы мои… (*Пауза.*) Как же, с позволения вашего, вы за всякий год беретесь платить за них подать и деньги будете выдавать мне или в казну?

Чичиков. Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали.

Плюшкин. Да, купчую крепость. Ведь вот, купчую крепость – все издержки…

Чичиков. Из уважения к вам, готов принять даже издержки по купчей на свой счет.

Плюшкин. Батюшка! Батюшка! Желаю всяких утешений вам и деткам вашим. И деткам. (*Подозрительно.*) А недурно бы совершить купчую поскорее, потому что человек сегодня жив, а завтра и Бог весть.

Чичиков. Хоть сию же минуту… Вам нужно будет для совершения крепости приехать в город.

Плюшкин. В город? Да как же? А дом-то как оставить? Ведь у меня народ – или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.

Чичиков. Так не имеете ли какого-нибудь знакомого?

Плюшкин. Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшка! Как не иметь. Имею. Ведь знаком сам председатель, езжал даже в старые годы ко мне. Как не знать! Однокорытники были. Вместе по заборам лазили. Уж не к нему ли написать?

Чичиков. И конечно, к нему.

Плюшкин. К нему! К нему!

Разливается вечерняя заря, и луч ложится на лицо Плюшкина.

В школе были приятели… (*Вспоминает.*) А потом я был женат?.. Соседи заезжали… Сад, мой сад… (*Тоскливо оглядывается.*)

Первый. …всю ночь сиял убранный огнями и громом музыки оглашенный сад…

Плюшкин. Приветливая и говорливая хозяйка… Все окна в доме были открыты… Но добрая хозяйка умерла, и стало пустее.

Чичиков. Стало пустее.

Первый. …одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и, чем более пожирает, тем становится ненасытнее.

Плюшкин. На дочь я не мог положиться… Да разве я не прав? Убежала со штабс-ротмистром Бог весть какого полка…

Первый. …Скряга, что же послал ей на дорогу?..

Плюшкин. Проклятие… И очутился я, старик, один и сторожем и хранителем…

Первый. …О озаренная светом вечерним ветвь, лишенная зелени!

Чичиков (*хмуро*). А дочь?

Плюшкин. Приехала. С двумя малютками и привезла мне кулич к чаю и новый халат. (*Щеголяет в своих лохмотьях.*) Я ее простил, я простил, но ничего не дал дочери. С тем и уехала Александра Степановна…

Первый. …О, бледное отражение чувства. Но лицо скряги вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственнее и пошлее…

Плюшкин. Лежала на столе четвертка чистой бумаги, да не знаю, куда запропастилась, люди у меня такие негодные. Мавра, Мавра!

Мавра появляется оборвана, грязна.

Куда ты дела, разбойница, бумагу?

Мавра. Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку.

Плюшкин. А я вот по глазам вижу, что подтибрила.

Мавра. Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку в ней никакого: я грамоте не знаю.

Плюшкин. Врешь, ты снесла пономаренку; он маракует, так ты ему и снесла.

Мавра. Пономаренок… Не видал он вашего лоскутка.

Плюшкин. Вот погоди-ко: на Страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками.

Мавра. Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки. Уж скорей другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал.

Плюшкин. А вот черти-то тебя и припекут. Скажут: «А вот тебя, мошенница, за то, что барина-то обманывала». Да горячими-то тебя и припекут.

Мавра. А я скажу: «Не за что. Ей-богу, не за что. Не брала я». Да вон она лежит. Всегда понапраслиной попрекаете. (*Уходит.*)

Плюшкин. Экая занозистая. Ей скажи только слово, а она уж в ответ десяток… (*Пишет.*)

Первый. …И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Все может статься с человеком!

Чичиков хмуро молчит.

Плюшкин. А не знаете ли какого-нибудь вашего приятеля, которому понадобились беглые души?

Чичиков (*очнувшись*). А у вас есть и беглые?

Плюшкин. В том-то и дело, что есть.

Чичиков. А сколько их будет числом?

Плюшкин. Да десятков до семи наберется… (*Подает список.*) Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего.

Чичиков. Будучи подвигнут участием, я готов дать по двадцати пяти копеек за беглую душу.

Плюшкин. Батюшка, ради нищеты-то моей уж дали бы по сорока копеек!

Чичиков. Почтеннейший, не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы… Но состояния нет… По пяти копеек, извольте, готов прибавить.

Плюшкин. Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки

пристегните.

Чичиков. По две копеечки пристегну, извольте… Семьдесят восемь по тридцати… двадцать четыре рубля. Пишите расписку.

Плюшкин написал расписку, принял деньги, спрятал. Пауза.

Плюшкин. Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили. Народ такие воры. А вот разве не это ли он? Еще покойница делала. Мошенница-ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья. Козявки и всякая дрянь было понапичкалась туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая, я вам налью рюмочку.

Чичиков. Нет, покорнейше благодарю… нет, пил и ел. Мне пора.

Плюшкин. Пили уже и ели? Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь: он не ест, а сыт. Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог. (*Провожает Чичикова.*)

Заря угасает. Тени.

Плюшкин (*возвращается*). Мавра! Мавра!

Никто ему не отвечает, слышно, как удаляются колокольчики Чичикова.

Занавес.

Вопросы и задания

1. Булгаков в списке действующих лиц (афише) указал таких героев: Первый в спектакле; Чичиков Павел Иванович; Секретарь опекунского совета; Половой в трактире; Губернатор; Губернаторша; Дочка губернатора; Председатель Иван Григорьевич; Почтмейстер Иван Андреевич; Прокурор Антипатор Захарьевич; Жандармский полковник Илья Ильич; Анна Григорьевна; Софья Ивановна; Макдональд Карлович; Сысой Пафнутьевич; Петрушка; Селифан; Плюшкин, помещик; Собакевич Михаил Семенович, помещик; Манилов, помещик; Ноздрев, помещик; Коробочка Настасья Петровна, помещица… Как вы объясните последовательность появления этих героев в списке действующих лиц?

2. Всего в комедии действуют 32 персонажа. Кто из них (посмотрите еще раз на афишу) пришел со страниц поэмы Гоголя и кого Булгаков ввел дополнительно?

3. Какие главы поэмы Гоголя использованы для создания «Пролога»? Какую роль играет «Пролог» в композиции комедии?

⏩1. Какие излюбленные приемы писателя-сатирика полностью сохранились при инсценировке поэмы? Что добавил Булгаков из собственного арсенала драматурга?

2. Как использованы в комедии лирические отступления поэмы?

3. Как использованы в комедии пейзаж, интерьер, портреты из текста Гоголя?

4. Какова роль Первого в спектакле? Зачем, на ваш взгляд, ввел Булгаков этот персонаж в комедию?

⏩⏩1. Сравните первый акт комедии Булгакова с текстом поэмы Гоголя. Какие главы в нем использованы?

2. Подготовьте сообщение об одном из помещиков, пользуясь текстом комедии. Обозначьте сходство и различие с персонажем поэмы Гоголя.

3. Подготовьте сообщение о Чичикове как главном герое комедии. Попробуйте хотя бы в самых общих чертах обозначить, что потерял и что приобрел герой комедии по сравнению с героем поэмы.

4. Подготовьте чтение в лицах одного из эпизодов комедии. Участники могут дать после исполнения свой комментарий к изображенному эпизоду.

5. Составьте краткий словарик языка одного из персонажей комедии. Можно создать и словарики двух героев, чтобы затем их сравнить. Если вы работали над созданием таких словариков при изучении поэмы Гоголя, то сравните их.

6. Охарактеризуйте ремарки в одном из актов комедии.

7. Любители театра могут подготовить рассказ о судьбе комедии «Мертвые души» на сцене МХАТа.

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984)

Станица Вёшенская – старейшая на Дону. Веками донская земля была пристанищем самых вольнолюбивых людей. «Гуляй-полем» называли донские земли. С первых дней жизни привольные степи, традиции казачьей общины, воинское героическое прошлое формировали характер, взгляд на мир Михаила Шолохова. «С самого рождения маленький Миша дышал чудесным степным воздухом над бескрайним степным простором», – напишет потом А. С. Серафимович, первый, кто заметил яркий талант писателя.

«Восхождение Шолохова – всегда загадка. В двадцать два года

„Тихий Дон“… Народные характеры, каких не знала еще литература» – так писал Федор Абрамов, писатель, который долгие годы занимался изучением творчества Шолохова.

Творческая юность Шолохова – это «Донские рассказы». В предисловии к этому сборнику писатель Серафимович написал: «Просто, ярко, и рассказываемое чувствуешь – перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество… Герои этих рассказов не знают противоречий…»

Пройдет совсем немного времени, и молодой Шолохов создаст одну из лучших книг XX века – роман-эпопею «Тихий Дон». Это произведение переведено на 80 языков и получило всеобщее признание. Прямолинейности и «простоты» «Донских рассказов» в нем нет. Есть попытка понять своего современника и показать трудный путь человека в аду гражданской войны.

Герои «Донских рассказов» проходят через степи с «аргументом насилия» в руках. Герои «Тихого Дона» испытываются на человечность. Читая этот роман, нельзя не заметить той неразрывной связи человека и природы, которая постоянна и неизменна для Шолохова.

31 декабря 1956 года и 1 января 1957 года в газете «Правда» был опубликован рассказ «Судьба человека». Как рассказывает один из журналистов, задуман он был давно: «А знает ли читатель о том, как Шолохов повстречался с героем рассказа „Судьба человека“ Андреем Соколовым именно на охоте. В первый послевоенный год поехал он поохотиться… Присев на плетень отдохнуть у разлившейся степной речушки Бланки, он заметил мужчину, который вел за руку мальчика по направлению к речной переправе. Усталые путники подошли к нему и, приняв его за шофера, запросто сели отдохнуть. Тогда-то на этом плетне и поведал Андрей Соколов „своему брату-шоферу“ о своей судьбе. Путник собирался было уже уходить, но в это время подъехала к писателю его жена и выдала его, что называется, с головой. Путник ахнул от такой неожиданности, но уже было поздно – все успел рассказать о себе – и быстро распрощался. А писатель жалел, что не успел узнать его фамилию». Однако до создания рассказа было далеко: только через 10 лет, читая о тех, кто пришел с войны, Шолохов решил показать способность человека к преодолению своих бед и за семь дней создал этот рассказ.

Судьба человека. *В сокращении*

Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое – всего лишь около шестидесяти километров, – но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. <…>

Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Бланку. <…>

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы. <…>

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту – лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

– Здорово, браток!

– Здравствуй. – Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

– Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

– Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

– Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не

замерзаю, а руки холодные – снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

– Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь – он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, – я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком. <…>

– Ты что же, всю войну за баранкой?

– Почти всю.

– На фронте?

– Да.

– Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе… Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника. <…>

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

– Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни – хоть шаром покати, – нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть – не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет! <…>

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года еще две девочки… Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу. Семья стала числом порядочная, не до

выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое – вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса…

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе…

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий – пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери – Настенька и Олюшка. <…> Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой… Андрюша… не увидимся… мы с тобой… больше… на этом… свете…»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!»

Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе…

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы…

– Не надо, друг, не вспоминай! – тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

– До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне – мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые, как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра… Такой она и в памяти – мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез… По большей части такой я ее и во сне всегда вижу… Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут…

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне «ЗИС-5». На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. <…>

Только не пришлось мне и года повоевать… Два раза за это время был ранен, но оба раза по легкости: один раз – в мякоть руки, другой – в ногу; первый раз – пулей с самолета, другой – осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки… Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без

снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным…

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! – отвечаю ему. – Я должен проскочить, и баста!» – «Ну, – говорит, – дуй! Жми на всю железку!» <…>

Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось… Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда – не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета – не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, – сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет… Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я – уже в окружении, а скорее сказать – в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает… <…>

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал… Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно…

Думал, все прошли. Приподнял голову, а их шесть автоматчиков – вот они, шагают метрах в стах от меня. Гляжу,

сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, – думаю, – и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. <…>

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается», – соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат – я ему прямо в глаза гляжу, молчу, – а другой, ефрейтор что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» – и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын! <…>

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад в плен!.. А ходок тогда из меня был некудышный. В час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был.

Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкою автомата по голове. Упади я, – и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу – ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. <…> Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я – военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. <…>

Утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» – и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. <…>

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда

нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст… А потом – бегом, держу прямо на восход солнца…

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, – сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит… Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели. И под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой… живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, – сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать…

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты – русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток – где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору. <…>

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться – то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком – барак они так называли, – идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде

ветерком с родной стороны подувает… Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, – уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, – говорит, – я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному – номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно…

В комендантской – цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом – все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и – не поверишь – так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою… Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки – это много?» – «Так точно, – говорю, – герр комендант, много». – «А одного тебе на могилу хватит?» – «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». – «Воля ваша», – говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить на нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», – говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки. Фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты – настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я – тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», – и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу

и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло…

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» – спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», – говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, – только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом – в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, – шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» – была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определил, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет – только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе, – и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое.

Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я

спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и, знаешь, браток, как сердце забилось? <…>

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями… Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем…

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у

полковника – командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати „языков“. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь». <…>

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить…

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут… На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома… Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки – глубокая яма… Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказывало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул… Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не

приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я – крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе… Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

– Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит. <…>

Молчать было тяжело, и я спросил:

– Что же дальше?

– Дальше-то? – нехотя отозвался рассказчик. – Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс… Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. <…>

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись… Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер… <…>

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и будто что-то во мне оборвалось… Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня

демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, – он когда-то приглашал меня к себе, – вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернешься в город – понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует… И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день – опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки – как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, – кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». – «А мама?» – «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». – «А откуда вы ехали?» – «Не знаю, не помню…» – «И никого у тебя тут родных нету?» – «Никого». – «Где же ты ночуешь?» – «А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и

говорю так же тихо: «Я – твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся… Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, – побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». <…>

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним – дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, ион-то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у

меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», – говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». – «А Урюпинск – это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, – он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, – и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком. <…>

– Тяжело ему идти, – сказал я.

– Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться, – слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня́ надо менять… Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я – за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону… Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, – они уходят от меня, будто тают на глазах… И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез…

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

– Прощай, браток, счастливо тебе!

– И тебе счастливо добраться до Кашар.

– Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед… Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное – уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное – не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза…

Вопросы и задания

▶1. Как вы понимаете название рассказа «Судьба человека»? Почему не «Судьба Соколова»? Попробуйте доказать, что это название, данное автором, самое удачное.

▶▶1. Как вы понимаете слово «судьба»? Приходилось ли вам задумываться о судьбе какого-то человека, о судьбе целого народа, о собственной судьбе?

2. В кратком словаре синонимов русского языка слову «судьба» даны такие синонимы: «доля», «удел», «жребий», «участь», «предопределение», «рок», «фатум». Смогли бы вы объяснить разницу между этими словами?

3. Покажите, чем вызвано активное включение в рассказ разговорной речи.

▶▶▶1. Составьте план рассказа и выделите в нем тот пункт, который указывает на кульминацию.

2. Подготовьте рассказ о судьбе Андрея Соколова.

Александр Трифонович Твардовский (1910–1971)

Есть старинная поговорка: «Когда говорят пушки, музы

молчат». Однако Великая Отечественная война опровергла ее. С самых первых дней войны стали рождаться прекрасные стихи, песни, романы, драмы, яркая публицистика. Одним из самых популярных произведений на фронте и в тылу стала поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин» («Книга про бойца»). Высоко оценил ее И. А. Бунин: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».

Александр Твардовский родился, провел свое детство и юные годы в крестьянской семье на Смоленщине. Великим тружеником был его отец, глава большой семьи, Трифон Гордеевич Твардовский, деревенский кузнец. «Семья еле сводила концы с концами, – вспоминает младший брат писателя Иван Твардовский, – изнурительный труд на пашне в мелких болотцах, замшелых березнячках, кочковатых полянках не вознаграждался желанным урожаем. На отвоеванных у кустарников нивах озимые подопревали, и их нередко приходилось пересеивать яровыми. Но пороха у отца всегда хватало, и он, не щадя сил, упорно продолжал работать, облагораживая свое „имение“».

Семья Твардовских очень интересно проводила зимние вечера. Трифон Гордеевич был страстным любителем чтения, хотя и окончил всего три класса церковно-приходской школы. Он знал наизусть много стихотворений, семейное чтение стало традицией в его доме. С этих читок начиналось приобщение к литературе будущего поэта. В доме, в красном углу, под образами, на полочке стояли тома сочинений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Данилевского, Кольцова, Никитина, Тютчева, Помяловского, Аксакова, Жюля Верна. В селе с удивлением смотрели на семью Твардовских и часто объясняли их материальные трудности увлечением грамотой.

В поэме «За далью – даль» Александр Твардовский так отозвался об отцовской кузнице:

На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И Академией наук.

Будущий поэт испытывал большую тягу к знаниям и творчеству. Он постепенно отходил от хуторского хозяйства, уезжал на учебу, а в 1928 году и вовсе покинул хутор.

Начал Твардовский свой творческий путь сельским

корреспондентом. Известность пришла к нему с поэмой «Страна Муравия», напечатанной сначала в 1936 году в Смоленске.

В конце 30-х годов Твардовский обратился к военной теме. Поэта волнует жизнь народа в годы сложных поворотов истории.

В сентябре 1939-го Твардовский участвует в походе в Западную Белоруссию, а затем – в войне с Финляндией. Эти события нашли отражение в стихах о героических подвигах танкистов, летчиков, шофера Володи Артюха и многих других солдат, прорывавших «линию Маннергейма».

Перед самой войной 11–21 июня 1941 года он написал стихи, которые можно воспринимать как наброски к поэме о Теркине:

Там, в боях полубезвестных,
В сосняке болот глухих
Смертью храбрых, смертью честных
Пали многие из них.

Там, за той рекой Сестрою,
На войне, в снегах по грудь,
Золотой Звездой героя
Многих был отмечен путь.

Стоил он, тот путь, не мало,
Прегражден лютой зимой,
Тьмой лесной, огнем, металлом,
Надолб каменным оскалом,
Льдом, водой, землей самой.

В 1942 году Твардовский продолжает работу над образом Теркина, но уже как бойца новой большой войны. Теркин – веселый, неунывающий, умеющий поддержать в себе и людях оптимистичное настроение. Однако поэма создавалась длительное время, и в характере Теркина произошли определенные изменения, он как бы дан автором в развитии. Герой меняется вместе с теми событиями, участником которых он является. По мере приближения победы герой все больше погружается в себя, в его образе просвечивается все больше индивидуального, частного.

Василий Теркин. ***Книга про бойца. В сокращении***

Два солдата

В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гудит война.
На печи в избе старуха,
Дед-хозяин у окна.

Рвутся мины. Звук знакомый
Отзывается в спине.
Это значит – Теркин дома,
Теркин снова на войне.

А старик как будто ухом
По привычке не ведет.
– Перелет! Лежи, старуха. —
Или скажет:
– Недолет…

На печи, забившись в угол,
Та следит исподтишка
С уважительным испугом
За повадкой старика,

С кем жила – не уважала,
С кем бранилась на печи,
От кого вдали держала
По хозяйству все ключи.

А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от клюквы, кривит губы —
Точит старую пилу.

– Вот не режет, точишь, точишь,
Не берет, ну что ты хочешь!.. —
Теркин встал:
– А может, дед,
У нее развода нет?

Сам пилу берет:
– А ну-ка…—
И в руках его пила,
Точно поднятая щука,
Острой спинкой повела.

Повела, повисла кротко.

Теркин щурится:
– Ну вот.
Поищи-ка, дед, разводку,
Мы ей сделаем развод.

Посмотреть – и то отрадно:
Завалящая пила
Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла.

Обернулась – и готово.
– На-ко, дед, бери, смотри.
Будет резать лучше новой,
Зря инструмент не кори.

И хозяин виновато
У бойца берет пилу.
– Вот что значит мы, солдаты, —
Ставит бережно в углу.

А старуха:
– Слаб глазами,
Стар годами мой солдат.
Поглядел бы, что с часами,
С той войны еще стоят…

Снял часы, глядит: машина,
Точно мельница, в пыли.
Паутинами пружины
Пауки обволокли.

Их повесил в хате новой
Дед-солдат давным-давно:
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.

Осмотрев часы детально, —
Все ж часы, а не пила, —
Мастер тихо и печально
Посвистел:
– Плохи дела…

Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,

Внутрь куда-то дунул, плюнул, —
Что ты думаешь, – пошли!

Крутит стрелку, ставит пятый,
Час – другой, вперед – назад.
– Вот что значит мы, солдаты, —
Прослезился дед-солдат.

Дед растроган, а старуха,
Отслонив ладонью ухо,
С печки слушает:
– Идут!
Ну и парень, ну и шут…

Удивляется. А парень
Услужить еще не прочь.
– Может, сало надо жарить?
Так опять могу помочь.

Тут старуха застонала:
– Сало, сало! Где там сало…

Теркин:
– Бабка, сало здесь.
Не был немец – значит, есть!

И добавил, выжидая,
Глядя под ноги себе:
– Хочешь, бабка, угадаю,
Где лежит оно в избе?

Бабка охнула тревожно,
Завозилась на печи.
– Бог с тобою, разве можно…
Помолчи уж, помолчи.

А хозяин плутовато
Гостя под локоть тишком:
– Вот что значит мы, солдаты,
А ведь сало под замком.

Ключ старуха долго шарит,
Лезет с печки, сало жарит
И, страдая до конца,

Разбивает два яйца.

Эх, яичница! Закуски
Нет полезней и прочней.
Полагается по-русски
Выпить чарку перед ней.

– Ну, хозяин, понемножку,
По одной, как на войне.
Это доктор на дорожку
Для здоровья выдал мне.

Отвинтил у фляги крышку:
– Пей, отец, не будет лишку.
Поперхнулся дед-солдат,
Подтянулся:
– Виноват!..

Крошку хлебушка понюхал.
Пожевал – и сразу сыт.

А боец, тряхнув над ухом
Тою флягой, говорит:
– Рассуждая так ли, сяк ли,
Все равно такою каплей
Не согреть бойца в бою,
Будьте живы!
– Пейте.
– Пью…

И сидят они по-братски
За столом, плечо в плечо.
Разговор ведут солдатский,
Дружно спорят, горячо.

Дед кипит:
– Позволь, товарищ,
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хорошо? А где сушить?

Не просушишь их в землянке,
Нет, ты дай-ка мне сапог,
Да суконные портянки

Дай ты мне – тогда я бог!

Снова где-то на задворках
Мерзлый грунт боднул снаряд.
Как ни в чем – Василий Теркин,
Как ни в чем – старик солдат.

– Эти штуки в жизни нашей, —
Дед расхвастался, – пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.
Попадет, откинешь ложкой,
А в тебя – так и мертвец.

– Но не знали вы бомбежки,
Я скажу тебе, отец.

– Это верно, тут наука,
Тут напротив не попрешь.
А скажи, простая штука
Есть у вас?
– Какая?
– Вошь.

И, макая в сало коркой,
Продолжая ровно есть,
Улыбнулся вроде Теркин
И сказал:
– Частично есть…

– Значит, есть? Тогда ты воин,
Рассуждать со мной достоин.
Ты – солдат, хотя и млад,
А солдат солдату – брат.

И скажи мне откровенно,
Да не в шутку, а всерьез.
С точки зрения военной
Отвечай на мой вопрос.
Отвечай: побьем мы немца
Или, может, не побьем?

– Погоди, отец, наемся,
Закушу, скажу потом.

Ел он много, но не жадно,
Отдавал закуске честь,
Так-то ладно, так-то складно,
Поглядишь – захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,
Встал, как будто вдруг подрос,
И платочек к подбородку,
Ровно сложенный, поднес.
Отряхнул опрятно руки
И, как долг велит в дому,
Поклонился и старухе
И солдату самому.

Молча в путь запоясался,
Осмотрелся – все ли тут?
Честь по чести распрощался,
На часы взглянул: идут!
Все припомнил, все проверил,
Подогнал и под конец
Он вздохнул у самой двери
И сказал:
– Побьем, отец…

В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гремит война.
На печи в избе – старуха.
Дед-хозяин у окна.

В глубине родной России,
Против ветра, грудь вперед,
По снегам идет Василий
Теркин. Немца бить идет.

О себе

Я покинул дом когда-то,
Позвала дорога вдаль.
Не мала была утрата,
Но светла была печаль.

И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.

Да и не было помехи
Взять и вспомнить наугад.
Старый лес, куда в орехи
Я ходил с толпой ребят.

Лес – ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Без порядку как-нибудь;
Не корчеванный фугасом,
Не поваленный огнем,
Хламом гильз, жестянок, касок
Не заваленный кругом;
Блиндажами не изрытый,
Не обкуренный зимой,
Ни своими не обжитый,
Ни чужими под землей.

Милый лес, где я мальчонкой
Плел из веток шалаши,
Где однажды я теленка,
Сбившись с ног, искал в глуши…

Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.

Лист к листу, листом прикрытый,
В сборе лиственном густом
Пересчитанный, промытый
Первым за лето дождем.

И в глуши родной ветвистой,
И в тиши дневной, лесной
Молодой, густой, смолистый,
Золотой держался зной.

И в спокойной чаще хвойной

У земли мешался он
С муравьиным духом винным
И пьянил, склоняя в сон.

И в истоме птицы смолкли…
Светлой каплею смола
По коре нагретой елки,
Как слеза во сне, текла…

Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край недавних детских лет,
Отчий край, ты есть иль нет?

Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко все это было
Взять и вспомнить год назад.

Вспомнить разом что придется —
Сонный полдень над водой,
Дворик, стежку до колодца,
Где песочек золотой;
Книгу, читанную в поле,
Кнут, свивающий с плеча,
Лед на речке, глобус в школе
У Ивана Ильича…

Да и не было запрета,
Проездной купив билет,
Вдруг туда приехать летом,
Где ты не был десять лет…

Чтобы с лаской, хоть не детской,
Вновь обнять старуху мать,
Не под проволокой немецкой
Нужно было проползать.

Чтоб со взрослой грустью сладкой
Праздник встречи пережить —
Не украдкой, не с оглядкой
По родным лесам кружить.

Чтоб сердечным разговором

С земляками встретить день —
Не нужда была, как вору,
Под стеною прятать тень…

Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край, страдающий в плену!
Я приду – лишь дня не знаю,
Но приду, тебя верну.

Не звериным робким следом
Я приду, твой кровный сын, —
Вместе с нашею победой
Я иду, а не один.

Этот час не за горою
Для меня и для тебя…
А читатель той порою
Скажет:
– Где же про героя?
Это больше про себя.

Про себя? Упрек уместный,
Может быть, меня пресек.
Но давайте скажем честно:
Что ж, а я не человек?

Спорить здесь нужды не вижу,
Сознавайся в чем другом.
Я ограблен и унижен,
Как и ты, одним врагом.

Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой.
Мать, отец, родные сестры
У меня за той чертой.
Я стонать от боли вправе
И кричать с тоски клятой.

То, что я всем сердцем славил
И любил, – за той чертой.
Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.
То, что я хранил и помнил,

Чем я жил, – за той, за той —
За неписаной границей,
Поперек страны самой,
Что горит, горит в зарницах
Вспышек – летом и зимой…

И скажу тебе, не скрою, —
В этой книге, там ли, сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за все кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Теркин, мой герой,
За меня гласит порой.
Он земляк мой, и, быть может,
Хоть нимало не поэт,
Все же как-нибудь похоже
Размышлял. А нет, ну – нет.

Теркин – дальше. Автор – вслед.

Дед и баба

Третье лето. Третья осень.
Третья озимь ждет весны.
О своих нет-нет и спросим
Или вспомним средь войны.

Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз,
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас.

Вспомним вьюгу-завируху
Прифронтовой полосы,
Хату с дедом и старухой,
Где наш друг чинил часы.

Им бы не было износу

Впредь до будущей войны,
Но, как водится, без спросу
Снял их немец со стены:

То ли вещью драгоценной
Те куранты посчитал,
То ль решил с нужды военной, —
Как-никак цветной металл.

Шла зима, весна и лето,
Немец жить велел живым.
Шла война далеко где-то
Чередом глухим своим.

И в твоей родимой речке
Мылся немец тыловой,
На твоем сидел крылечке
С непокрытой головой.

И кругом его порядки,
И немецкий, привозной
На смоленской узкой грядке
Зеленел салат весной.

И ходил сторонкой, боком
Ты по улочке своей, —
Уберегся ненароком,
Жить живи, дышать не смей.

Так и жили дед да баба
Без часов своих давно,
И уже светилось слабо
На пустой стене пятно…

Но со страстью неизменной
Дед судил, рядил, гадал
О кампании военной,
Как в отставке генерал.

На дорожке возле хаты
Костылем старик чертил
Окруженья и охваты,
Фланги, клинья, рейды в тыл…

– Что ж, за чем же остановка? —
Спросят люди. – Срок не мал… —
Дед-солдат моргал неловко,
Кашлял:
– Перегруппировка… —
И таинственно вздыхал.

У людей уже украдкой
Наготове был упрек,
Словно добрую догадку
Дед по скупости берег.

Словно думал подороже
Запросить с души живой.
– Дед, когда же?
– Дед, ну что же?
– Где ж он, дед, Буденный твой?

И едва войны погудки
Заводил вдали восток,
Дед, не медля ни минутки,
Объявил, что грянул срок.

Отличал тотчас по слуху
Грохот наших батарей.
Бегал, топал:
– Дай им духу!
Дай еще! Добавь! Погрей!

Но стихала канонада.
Потухал зарниц пожар.
– Дед, ну что же?
– Думать надо,
Здесь не главный был удар.

И уже казалось деду, —
Сам хотел того иль нет, —
Перед всеми за победу
Лично он держал ответ.

И, тая свою кручину,
Для всего на свете он
И угадывал причину,
И придумывал резон.

Но когда пора настала,
Долгожданный вышел срок,
То впервые воин старый
Ничего сказать не мог…

Все тревоги, все заботы
У людей слились в одну:
Чтоб за час до той свободы
Не постигла смерть в плену.

* * *

В ночь, как все, старик с женой
Поселились в яме.
А война – не стороной,
Нет, над головами.

Довелось под старость лет:
Ни в пути, ни дома,
А у входа на тот свет
Ждать часы приема.

Под накатом из жердей,
На мешке картошки,
С узелком, с горшком углей,
С курицей в лукошке…

Две войны прошел солдат
Целый, невредимый.
Пощади его, снаряд,
В конопле родимой!

Просвисти над головой,
Но вблизи не падай,
Даже если ты и свой, —
Все равно не надо!

Мелко крестится жена,
Сам не скроешь дрожи:
Ведь живая смерть страшна
И солдату тоже.

Стихнул грохот огневой
С полночи впервые.
Вдруг – шаги за коноплей.
– Ну, идут… немые…

По картофельным рядам
К погребушке прямо.
– Ну, старик, не выйти нам
Из готовой ямы.

Но старик встает, плюет
По-мужицки в руку.
За топор – и наперед:
Заслонил старуху.

Гибель верную свою,
Как тот миг ни горек,
Порешил встречать в бою,
Держит свой топорик.

Вот шаги у края – стоп!
И на шубу глухо
Осыпается окоп.
Обмерла старуха.

Все же вроде как жива:
– Наше место свято!
Слышит русские слова:
– Жители, ребята?..

– Детки! Родненькие… Детки!.. —
Уронил топорик дед.
– Мы, отец, еще в разведке,
Тех встречай, что будут вслед.

На подбор орлы-ребята,
Молодец до молодца.
И старшой у аппарата, —
Хоть ты что, знаком с лица.

– Закурить? Верти, папаша. —
Дед садится, вытер лоб.
– Ну, ребята, счастье ваше —

Голос подали. А то б…

И старшой ему кивает:
– Ничего. На том стоим.
На войне, отец, бывает —
Попадает по своим.

– Точно так. – И тут бы деду
В самый раз что покурить,
В самый раз продлить беседу:
Столько ждал! – Поговорить.

Но они спешат не в шутку.
И еще не снялся дым…
– Погоди, отец, минутку,
Дай сперва освободим…

Молодец ему при этом
Подмигнул для красоты,
И его по всем приметам
Дед узнал:
– Так это ж ты!

Друг-знакомец, мастер-ухарь,
С кем сидели у стола.
Погляди скорей, старуха!
Узнаешь его, орла?

Та как глянула:
– Сыночек!
Голубочек. Вот уж гость.
Может, сала съешь кусочек,
Воевал, устал небось?

Смотрит он, шутник тот самый:
– Закусить бы счел за честь,
Но ведь нету, бабка, сала?
– Да и нет, а все же есть…

– Значит, цел, орел, покуда.
– Ну, отец, не только цел:
Отступал солдат отсюда,
А теперь, гляди, кто буду, —
Вроде даже офицер.

– Офицер? Так-так. Понятно, —
Дед кивает головой. —
Ну, а если… на попятный,
То опять как рядовой?..

– Нет, отец, забудь. Отныне
Нерушим простой завет:
Ни в большом, ни в малом чине
На попятный ходу нет.

Откажи мне в черствой корке,
Прогони тогда за дверь.
Это я, Василий Теркин,
Говорю. И ты уж верь.

– Да уж верю! Как получше,
На какой теперь манер:
Господин, сказать, поручик
Иль товарищ офицер?

– Стар годами, слаб глазами,
И, однако, ты, старик,
За два года с господами
К обращению привык…

Дед – плеваться, а старуха,
Подпершись одной рукой,
Чуть склонясь и эту руку
Взявши под локоть другой,
Все смотрела, как на сына
Смотрит мать из уголка.

– Закуси еще, – просила, —
Закуси, поешь пока…

И спешил, а все ж отведал,
Угостился, как родной.
Табаку отсыпал деду
И простился.

– Связь, за мной! —
И уже пройдя немного, —
Мастер памятлив и тут, —

Теркин будто бы с порога
Про часы спросил:
– Идут?

– Как не так! – и вновь причина
Бабе кинуться в слезу.

– Будет, бабка! Из Берлина
Двое новых привезу.

Вопросы и задания

▶1. Как изображен Теркин в главе «Два солдата»? Почему она так названа?

2. Можно ли считать, как утверждает автор, Теркина и старика солдатами-братьями?

3. Какое отношение проявляют друг к другу старик и Теркин? Как это выражено в их словах, поступках, жестах, манере обращения?

4. Какую, по-вашему, роль выполняет в поэме о бойце Теркине глава «О себе»?

▶▶1. Какие сказочные, обрядовые и народно-песенные традиции вы находите в этой главе? В чем они выражены?

2. Какие изменения в поведении и речи Теркина обнаруживаются в главе «Дед и баба»? Что, по-вашему, приобретено и что утрачено солдатом?

▶▶▶1. Сопоставьте сцены прощания в главах «Два солдата» и «Дед и баба». Что общего в них и что различного? О чем говорит воспоминание Теркина о починенных часах?

2. Какие изменения происходят в облике старика и старухи, в их поведении за прошедшие годы? Чем они обусловлены?

3. Каково отношение поэта к Родине, родному краю? Как оно передано в главе?

4. Каковы размышления автора о своих связях с героем? В чем смысл этих рассуждений? Можно ли сказать, что в этой главе достигается единство лирического и эпического начал в поэме, трагическая гармония?

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008)

Судьба Александра Исаевича Солженицына как писателя и

человека оказалась очень сложной и необычной. Будучи бескомпромиссным и несгибаемым борцом против социальной несправедливости, тоталитаризма, любых форм нарушения прав человека, он большую часть жизни находился в противостоянии власти и подвергался всевозможным гонениям.

Родился Александр Исаевич 11 декабря 1918 года в Кисловодске, детство и юность его прошли в Ростове-на-Дону, где он и окончил среднюю школу в 1936 году. В 1941 году закончил математический факультет Ростовского университета. Одновременно он учился на заочном отделении Московского института философии, литературы, истории (МИФЛИ).

Началась война. Благодаря знанию математики Александр Солженицын был направлен на учебу в артиллерийское училище, окончив которое был назначен командиром разведывательной артиллерийской батареи… Был пройден большой боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. Солженицын был удостоен ордена Отечественной войны второй степени и ордена Красной Звезды. В 1945 году капитан Солженицын был арестован за неодобрительный отзыв о Сталине в перехваченном цензурой личном письме к другу. В результате – восемь лет исправительно-трудовых лагерей, пять из них Солженицын провел в Подмосковье и Москве, три – в Средней Азии. Как математик, часть своего срока он провел в системе научно-исследовательских институтов МВД и МГБ, впечатление о которых он отразил в художественном романе «В круге первом». Находясь в Казахстане, в лагере города Экибастуза, работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком. Впоследствии этот лагерь и его люди были воссозданы в «Одном дне Ивана Денисовича». Затем предстояла вечная ссылка на юг Казахстана, прерванная смертью Сталина.

В сталинских застенках Александр Исаевич нажил тяжелую болезнь – рак. Но совершилось то, что Солженицын воспринял как чудо. Он излечился от тяжкого недуга в ташкентской клинике в течение 1954 года (по впечатлениям этого периода его жизни создан роман «Раковый корпус»).

В 1962 году Солженицыну при поддержке А. Т. Твардовского удается опубликовать в журнале «Новый мир» рассказ «Один день Ивана Денисовича», а в 1963 году в этом же журнале – «Матренин двор». Последнее произведение было подвергнуто резкой критике, писателя обвиняли в отступлении от законов социалистического реализма, искажении исторической правды, отсутствии оптимизма в изображении советского села. Так творчество Солженицына оказалось несовместимым с официальным пониманием правды и нравственности.

В 1964–1970 годы создана главная книга писателя –

«Архипелаг ГУЛАГ», которая стала своеобразным памятником всем замученным и убитым в годы тоталитарного режима. «Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался». Книга по своему жанру названа писателем «опытом художественного исследования».

В 1970 году Солженицын был удостоен Нобелевской премии.

Власти в СССР не могли простить непокоренному писателю его борьбу за открытие людям правды, его призывы «жить не по лжи». В 1974 году он был арестован по обвинению в измене Родине, однако широкая мировая известность нобелевского лауреата помешала предать писателя суду за столь «тяжкие преступления».

С 1975 года Александр Исаевич вместе со своей семьей жил в США. В 1994 году Солженицын вернулся в Россию.

Как жаль

Оказался перерыв на обед в том учреждении, где Анне Модестовне надо было взять справку. Досадно, но был смысл подождать: оставалось минут пятнадцать, и она еще успевала за свой перерыв.

Ждать на лестнице не хотелось, и Анна Модестовна спустилась на улицу.

День был в конце октября – сырой, но не холодный. В ночь и с утра сеялся дождик, сейчас перестал. По асфальту с жидкой грязцой проносились легковые, кто поберегая прохожих, а чаще обдавая. По середине улицы нежно серел приподнятый бульвар, и Анна Модестовна перешла туда.

На бульваре никого почти не было, даже и вдали. Здесь, обходя лужицы, идти по зернистому песку было совсем не мокро. Палые намокшие листья лежали темным настилом под деревьями, и если идти близко к ним, то как будто вился от них легкий запах – остаток ли не отданного во время жизни или уже первое тление, а все-таки отдыхала грудь меж двух дорог перегоревшего газа.

Ветра не было, и вся густая сеть коричневых и черноватых влажных… – Аня остановилась —…вся сеть ветвей, па́ветвей, еще меньших веточек, и сучочков, и почечек будущего года, вся эта сеть была обнизана множеством водяных капель, серебристо-белых в пасмурном дне. Это была та влага, что после дождя осталась на гладкой кожице веток, и в безветрии ссочилась, собралась и свесилась уже каплями – круглыми с кончиков нижних сучков и овальными с нижних дуг веток.

Переложив сложенный зонтик в ту же руку, где была у нее сумочка, и стянув перчатку, Аня стала пальцы подводить под капельки и снимать их. Когда удавалось это осторожно, то капля целиком передавалась на палец и тут не растекалась, только слегка плющилась. Волнистый рисунок пальца виделся через каплю крупнее, чем рядом, капля увеличивала, как лупа.

Но, показывая сквозь себя, та же капля одновременно показывала и над собой: она была еще и шаровым зеркальцем. На капле, на светлом поле от облачного неба, видны были – да! – темные плечи в пальто, и голова в вязаной шапочке, и даже переплетение ветвей над головой.

Так Аня забылась и стала охотиться за каплями покрупней, принимая и принимая их то на ноготь, то на мякоть пальца. Тут совсем рядом она услышала твердые шаги и сбросила руку, устыдясь, что ведет себя, как пристало ее младшему сыну, а не ей.

Однако проходивший не видел ни забавы Анны Модестовны, ни ее самой – он был из тех, кто замечает на улице только свободное такси или табачный киоск. Это был с явною печатью образования молодой человек с ярко-желтым набитым портфелем, в мягкошерстном цветном пальто и ворсистой шапке, смятой в пирожок. Только в столице встречаются такие ранне-уверенные, победительные выражения. Анна Модестовна знала этот тип и боялась его.

Спугнутая, она пошла дальше и поравнялась с газетным щитом на голубых столбиках. Под стеклом висел «Труд» наружной и внутренней стороной. В одной половине стекло было отколото с угла, газета замокла, и стекло изнутри обводнилось. Но именно в этой половине внизу Анна Модестовна прочла заголовок над двойным подвалом: «Новая жизнь долины реки Чу».

Эта река не была ей чужа: она там и родилась, в Семиречьи. Протерев перчаткой стекло, Анна Модестовна стала проглядывать статью.

Писал ее корреспондент нескупого пера. Он начинал с московского аэродрома: как садился на самолет и как, словно по контрасту с хмурой погодой, у всех было радостное настроение. Еще он описывал своих спутников по самолету, кто зачем летел, и даже стюардессу мельком. Потом – фрунзенский аэродром и как, словно по созвучию с солнечной погодой, у всех было очень радостное настроение. Наконец, он переходил собственно к путешествию по долине реки Чу. Он с терминами описывал гидротехнические работы, сброс вод, гидростанции, оросительные каналы, восхищался видом орошенной и плодоносной теперь пустыни и удивлялся цифрам урожаев на

колхозных полях.

А в конце писал:

«Но немногие знают, что это грандиозное и властное преобразование целого района природы замыслено было уже давно. Нашим инженерам не пришлось проводить заново доскональных обследований долины, ее геологических слоев и режима вод. Весь главный большой проект был закончен и обоснован трудоемкими расчетами еще сорок лет назад, в 1912 году, талантливым русским гидрографом и гидротехником Модестом Александровичем В*, тогда же начавшим первые работы на собственный страх и риск».

Анна Модестовна не вздрогнула, не обрадовалась – она задрожала внутренней и внешней дрожью, как перед болезнью. Она нагнулась, чтобы лучше видеть последние абзацы в самом уголке, и еще пыталась протирать стекло и едва читала:

«Но при косном царском режиме, далеком от интересов народа, его проекты не могли найти осуществления. Они были погребены в департаменте земельных улучшений, а то, что он уже прокопал, – заброшено.

Как жаль! – (кончал восклицанием корреспондент) – как жаль, что молодой энтузиаст не дожил до торжества своих светлых идей! что он не может взглянуть на преображенную долину!»

Кипяточком болтнулся страх, потому что Аня уже знала, что сейчас сделает: сорвет эту газету! Она воровато оглянулась вправо, влево – никого на бульваре не было, только далеко чья-то спина. Очень это было неприлично, позорно, но…

Газета держалась на трех верхних кнопках. Аня просунула руку в пробой стекла. Тут, где газета намокла, она сразу сгреблась уголком в сырой бумажный комок и отстала от кнопки. До средней кнопки, привстав на цыпочки, Аня все же дотянулась, расшатала и вынула. А до третьей, дальней, дотянуться было нельзя – и Аня просто дернула. Газета сорвалась – и вся была у нее в руке.

Но сразу же за спиной раздался резкий дробный турчок милиционера.

Как опаленная (она сильно умела пугаться, а милицейский свисток ее и всегда пугал), Аня выдернула пустую руку, обернулась…

Бежать было поздно и несолидно. Не вдоль бульвара, а через проем бульварной ограды, которого Аня не заметила раньше, к ней шел рослый милиционер, особенно большой от намокшего на нем плаща с откинутым башлыком.

Он не заговорил издали. Он подошел, не торопясь. Сверху

вниз посмотрел на Анну Модестовну, потом на опавшую, изогнувшуюся за стеклом газету, опять на Анну Модестовну. Он строго над ней высился. По широкому румяному лицу его и рукам было видно, какой он здоровый – вполне ему вытаскивать людей с пожара или схватить кого без оружия.

Не давая силы голосу, милиционер спросил:

– Это что ж, гражданка? Будем двадцать пять рублей платить?..

(О, если только штраф! Она боялась – будет хуже истолковано!)

– …Или вы хотите, чтоб люди газет не читали?

(Вот, вот!)

– Ах, что вы! Ах, нет! Простите! – стала даже как-то изгибаться Анна Модестовна. – Я очень раскаиваюсь… Я сейчас повешу назад… если вы разрешите…

Нет уж, если б он и разрешил, эту газету с одним отхваченным и одним отмокшим концом трудновато было повесить.

Милиционер смотрел на нее сверху, не выражая решения.

Он уж давно дежурил, и дождь перенес, и ему кстати было б сейчас отвести ее в отделение вместе с газетой: пока протокол – посушиться маненько. Но он хотел понять. Прилично одетая дама, в хороших годах, не пьяная.

Она смотрела на него и ждала наказания.

– Чем вам газета не нравится?

– Тут о папе моем!.. – Вся извиняясь, она прижимала к груди ручку зонтика, и сумочку, и снятую перчатку. Сама не видела, что окровянила палец о стекло.

Теперь постовой понял ее, и пожалел за палец и кивнул:

– Ругают?.. Ну, и что одна газета поможет?..

– Нет! Нет-нет! Наоборот – хвалят!

(Да он совсем не злой!)

Тут она увидела кровь на пальце и стала его сосать. И все смотрела на крупное простоватое лицо милиционера.

Его губы чуть развелись:

– Так что вы? В ларьке купить не можете?

– А посмотрите, какое число! – она живо отняла палец от губ и показала ему в другой половине витрины на несорванной газете. – Ее три дня не снимали. Где ж теперь найдешь?!

Милиционер посмотрел на число. Еще раз на женщину. Еще раз на опавшую газету. Вздохнул:

– Протокол нужно составлять. И штрафовать… Ладно уж, последний раз, берите скорей, пока никто не видел…

– О, спасибо! Спасибо! Какой вы благородный! Спасибо! –

зачастила Анна Модестовна, все так же немного изгибаясь или немного кланяясь, и раздумала доставать платок к пальцу, а проворно засунула все ту же руку с розовым пальцем туда же, ухватила край газеты и потащила. – Спасибо!

Газета вытянулась. Аня, как могла при отмокшем крае и одной свободной рукой, сложила ее. С еще одним вежливым изгибом сказала:

– Благодарю вас! Вы не представляете, какая это радость для мамы и папы! Можно мне идти?

Стоя боком, он кивнул.

И она пошла быстро, совсем забыв, зачем приходила на эту улицу, прижимая косо сложенную газету и иногда на ходу посасывая палец.

Бегом к маме! Скорей прочесть вдвоем! Как только папе назначат точное жительство, мама поедет туда и повезет сама газету.

Корреспондент не знал! Он не знал, иначе б ни за что не написал! И редакция не знала, иначе б не пропустила! Молодой энтузиаст – **дожил**! До торжества своих светлых идей он дожил, потому что смертную казнь ему заменили, двадцать лет он отсидел в тюрьмах и лагерях. А сейчас, при этапе на вечную ссылку, он подавал заявление самому Берия, прося сослать его в долину реки Чу. Но его сунули не туда, и комендатура теперь никак не приткнет этого бесполезного старичка: работы для него подходящей нет, а на пенсию он не выработал.

Вопросы и задания

▸1. Как, по-вашему, о чем этот маленький рассказ? В чем смысл его названия? Почему оно дано без восклицательного знака?

2. В чем вы видите особенности построения этого рассказа? Как это воздействует на его эмоциональное восприятие читателем?

3. Чего больше в рассказе – эпического или лирического? Обоснуйте свою точку зрения.

4. Проследите за поведением героини рассказа Анны Модестовны. Что можно сказать о ее характере, обстоятельствах, в которых она живет? Почему так привлек ее внимание образ прохожего и чем вызвал неприязненное чувство? Что думает о прохожем автор?

▸▸1. На страницах небольшого рассказа дается достаточно развернутое описание осенней природы в городе. Почему, по-

вашему, автор прибегает к такому приему? Какова роль пейзажа в рассказе «Как жаль»?

2. Какое время описано в рассказе? Ощущается ли ожидание чего-то нового, каких-то обнадеживающих перемен?

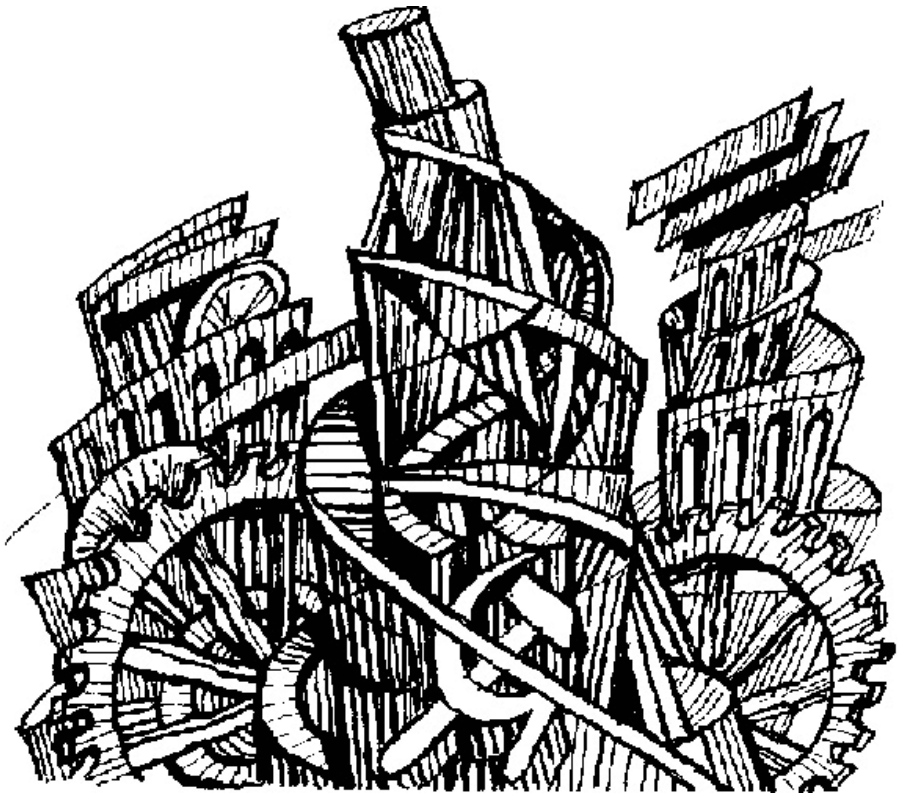
3. Проанализируйте диалог Анны Модестовны с милиционером. В чем причина ее страха?

4. Какое отношение вызывает газетная статья у Анны Модестовны и самого автора? Что значит определение автора «корреспондент нескупого пера»?

⏩1. Как проявилась авторская позиция в финале рассказа?

2. Прочитайте самостоятельно и проанализируйте один из рассказов Солженицына, например «Случай на станции Кочетовка» или «Правая кисть».

Русская литература 60–90-х годов XX века



Василий Макарович Шукшин (1929–1974)

Василий Макарович Шукшин – талантливый писатель и сценарист, режиссер и киноактер, человек необычной творческой судьбы.

Родился в селе Сростки Алтайского края. После окончания семи классов работал в разных городах, был слесарем, маляром, грузчиком. По призыву в армию служил четыре года на флоте. В 1954 году поехал в Москву поступать в Институт кинематографии, выдержал экзамены и стал блестящим учеником Михаила Ромма на режиссерском факультете. В 1963 году Шукшин впервые выступил как режиссер и автор сценария фильма «Живет такой парень» об обаятельном, добром, красивом душой Пашке Колокольникове, стремящемся всем делать добро.

Параллельно с работой в кинематографе начинают выходить

сборники рассказов «Сельские жители», «Земляки» и первый роман «Любавины». Критики, читатели и зрители отметили, что в литературу и кино вошел яркий талант со своей темой и своим героем.

В произведениях Шукшина живут бесхитростные и безыскусственные люди деревни, его земляки. Описывая обыденное, он нашел там много нового, неизвестного, глубинного. Красоту и силу своих героев Шукшин видит в безоглядной любви к людям. Его типичный герой – это чудаковатый человек, «чудик», душевный, искренний, отзывчивый в радости и беде. Таков, к примеру, Василий Егорыч Князев, тридцати девяти лет от роду, сельский киномеханик («Чудик»). «Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории – мелкие, впрочем, но досадные».

Тяга к необычному, духовному, выходящему за пределы обыденного характерна для героев шукшинских рассказов. Они остро реагируют на зло и несправедливость, живут по велению сердца, часто испытывают тоску, беспокойство. Им противостоят те, которые заботятся только о своем благополучии, унижают человеческое достоинство других людей («Срезал», «Беседы при ясной луне», «Обида», «Крепкий мужик», «Постскриптум»).

Шукшину было свойственно обостренное чувство правды, которое корнями уходило в опыт народа. «Нравственность есть Правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает правду».

Ванька Тепляшин

Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. А приехал в больницу какой-то человек из районного города, Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине… Поговорили о чем-то между собой и сказали Ваньке:

– Поедешь в городскую больницу?

– Зачем? – не понял Ванька.

– Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот… Сергей Николаевич лечить будет.

Ванька согласился.

В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть «тематический больной».

– А где тематический больной-то? – спрашивала сестра.

– Курит, наверно, в уборной, – отвечали соседи Ванькины. – Где же еще.

– Опять курит? Что с ним делать, с этим тематическим…

Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Все рассказал соседям по палате, что с ним случалось в жизни: как у него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной…

– Лед впереде уже о так от горбатится – горкой… Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг – вниз поехал!.. – Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое. – Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! Вода – хлобысь мне в ветровое стекло! А дверку льдиной шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться…

– Ты прямо, как это… как в баню попал: «вылез, начинаю осматриваться». Меньше ври-то.

Ванька на своей кровати выпучил честные глаза.

– Я вру?! – Некоторое время он даже слов больше не находил. – Хот… Да ты что? Как же я врать стану! Хот…

И верно, посмотришь на Ваньку – и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже – уметь надо.

– Ну, ну? Дальше, Вань. Не обращай внимания.

– Я, значит, смотрю вверх – вижу: дыра такая голубая, это куда я провалился… Я туда погреб.

– Да сколько ж ты под водой-то был?

– А я откуда знаю? Небось, недолго, это я рассказываю долго. Да еще перебивают…

– Ну, ну?

– Ну, вылез… Ко мне уже бегут. Завели в первую избу…

– Сразу – водки?

– Одеколоном сперва оттерли… Я целую неделю потом «Красной гвоздикой» вонял. Потом уж за водкой сбегали.

…Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живет чужая его уму и сердцу улица. Странно живет: шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся, но оттого, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают: какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице – по людям, по машинам… Еще пройдет, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой юбке, Ванька проводит ее взглядом. А так – все одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко.

И каково же было его удивление, радость, когда он в этом

мире внизу вдруг увидел свою мать… Пробирается через улицу, оглядывается – боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то.

– Мама идет! – закричал он всем в палате радостно.

Так это было неожиданно, так она вольно вскрикнула, радость человеческая, что все засмеялись.

– Где, Ваня?

– Да вон! Вот, с сумкой-то! – Ванька свесился с подоконника и закричал: – Ма-ам!

– Ты иди встреть ее внизу, – сказали Ваньке. – А то ее еще не пропустят: сегодня не приемный день-то.

– Да пустят! Скажет – из деревни… – Гадать стали.

– Пустят! Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, этот сроду не пустит.

Ванька побежал вниз.

А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал ее.

– Это ко мне! – издали еще сказал Ванька. – Это моя мать.

– В среду, субботу, воскресенье, – деревянно прокуковал красноглазый.

Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла было навстречу ему, но этот красноглазый придержал ее.

– Назад.

– Да ко мне она! – закричал Ванька. – Ты что?!

– В среду, субботу, воскресенье, – опять трижды отстукал этот… вахтер, что ли, как их там называют.

– Да не знала я, – взмолилась мать, – из деревни я… Не знала я, товарищ. Мне вот посидеть с им где-нибудь, маленько хоть…

Ваньку впервые поразило, – он обратил внимание, – какой у матери сразу сделался жалкий голос, даже какой-то заученно-жалкий, привычно-жалкий, и как она сразу перескочила на этот голос… И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать:

– Помолчи, мам.

– Да я вот объясню товарищу… Чего же?

– Помолчи! – опять велел Ванька. – Товарищ, – вежливо и с достоинством обратился он к вахтеру, но вахтер даже не посмотрел в его сторону. – Товарищ! – повысил голос Ванька. – Я к вам обращаюсь!

– Вань, – предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки.

Красноглазый все безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом не было и его не просили сзади и спереди.

– Пойдем вон там посидим, – изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтером. И пошел

мимо него.

– Наз-зад, – как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав.

Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его, Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтера и, бледнея уже, но еще спокойно, сказал матери:

– Вот сюда вот, на эту вот скамеечку.

Но и дальше тоже ждал Ванька – ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый схватил. За воротник Ванькиной полосатой пижамы. И больно дернул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил.

– Еще раз замечу, что ты свои руки будешь распускать… – заговорил Ванька ему в лицо негромко, не сразу находя веские слова, – я тебе… я буду иметь с вами очень серьезный разговор.

– Вань, – чуть не со слезами взмолилась мать. – Господи, Господи…

– Садись, – велел Ванька чуть осевшим голосом. – Садись вот сюда. Рассказывай, как там?..

Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришел в движение и подал громкий голос тревоги.

– Стигнеев! Лизавета Сергеевна!.. – закричал он. – Ко мне! Тут произвол!.. – И он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйнопомешанного, пошел на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только весь напружинился и смотрел снизу на красноглазого. И взгляд этот остановил красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: – Стигнеев!

Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате, с булочкой в руке…

– А? – спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол.

– Ко мне! – закричал красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку.

Ванька принял его… Вахтер отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел «произвол» и бросился на Ваньку.

…Ваньку им не удалось сцапать… Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий и старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька еще стерегся, чтоб поменьше летели стулья и тумбочки. Но все равно, тумбочка вахтерская полетела, и с нее полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся… Набежало белых халатов. Прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин… Красноглазого и Евстигнеева еле-еле уняли. Ваньку повели наверх. Сергей Николаевич повел. Он очень расстроился.

– Ну как же так, Иван?..

Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтоб она подождала его.

– На кой черт ты связался-то с ним? – никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора.

– Он мать не пустил.

– Да сказал бы мне, я бы все сделал! Иди в палату, я ее приведу.

– Не надо, мы счас домой поедем.

– Как домой? Ты что?

Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сергей Николаевич стал его уговаривать в своем кабинетике… Сказал даже так:

– Пусть твоя мама поживет пока у меня. Дня три. Сколько хочет! У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков! Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе…

– Нет, – сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого… – Нет. Что вы!

– Но я же не выпишу тебя!

– Я из окна выпрыгну… В пижаме убегу ночью.

– Ну-у, – огорченно сказал Сергей Николаевич. – Зря ты.

– Ничего. – Ваньке было даже весело. Немного только жаль, что доктора… жалко, что он огорчился. – А вы найдете кого-нибудь еще с язвой… У окна-то лежит, рыжий-то, у него же тоже язва.

– Не в этом дело. Зря ты, Иван.

– Нет. – Ваньке становилось все легче и легче. – Не обижайтесь на меня.

– Ну, что ж… – Сергей Николаевич все же очень расстроился. – Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь?.. Успокоишься…

– Нет. Решено.

Ванька помчался в палату – собрать кой-какие свои вещички.

В палате его стали наперебой ругать:

– Дурак! Ты бы пошел…

– Ведь тебя бы вылечили здесь, Сергей Николаевич довел бы тебя до конца.

Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять.

– Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь

поправить. Эх ты!

– Надо человеком быть, – с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно сказал Ванька. – Ясно?

– Ясно, ясно… Зря порешь горячку-то, зря…

– Ты бы полтинник сунул ему, этому красноглазому, и все было бы в порядке. Чего ты?

Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с легкой душой поскакал вниз.

Надо было еще взять внизу свою одежду. А одежду выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал:

– Выгнали? Ну вот…

А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко, с запоздалым укором:

– Ты бы ему копеек пятьдесят дал, и все – никакого шуму не было бы. Молодежь, молодежь… Неужели трудно догадаться?

– Надо человеком быть, а не сшибать полтинники, – опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания.

– Ботинки эти? Твои?

– Мои.

– Не долечился и едешь…

– Дома долечусь.

– До-ома! Дома долечисся…

– Будь здоров, Иван Петров! – сказал Ванька.

– Сам будь здоров. Попросил бы врача-то… может, оставют. Зря связался с этим дураком-то.

Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая небось сидит возле красноглазого и плачет.

И так и было: мать сидела на скамеечке за вахтером и вытирала полушалком слезы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор – на прострел. Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил – хотел напоследок что-нибудь сказать ему. Покрепче. Но никак не находил нужное.

– Будь здоров! – сказал Ванька. – Загогулина.

Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул – все смотрел вдоль своей вахты.

Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хваленой-перехваленой горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают.

– Не плачь, – сказал Ванька матери. – Чего ты?

– Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться, – сказала

мать свою горькую думу. – Из ФЗУ тада тоже…

– Да ладно!.. Вались они со своими ФЗУ. Еще тебе одно скажу: не проси так никого, как давеча этого красношарого просила. Никогда никого не проси. Ясно?

– Много так сделаешь – не просить-то!

– Ну… и так тоже нельзя. Слушать стыдно.

– Стыдно ему!.. Мне вон счас гумажки собирать на пенсию – побегай-ка за имя, да не попроси… Много соберешь?

– Ладно, ладно… – Мать никогда не переговорить. – Как там, дома-то?

– Ничо. У себя-то будешь долеживать?

– Та-а… не знаю, – сказал Ванька. – Мне уже лучше.

Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой.

Вопросы и задания

▸1. В чем вы усматриваете основную тему и идею рассказа?

2. Найдите в тексте рассказа слова, которые помогут сформулировать его основную идею.

3. В каких ситуациях, изображенных Шукшиным, особо остро отстаивается авторская позиция?

4. Почему Ваньке не понравилось в больнице?

▸▸1. Какое социально-нравственное явление символизирует образ красноглазого вахтера? Какие художественные средства использованы для его создания? Какие синонимы заменяют слово «говорил» по отношению к вахтеру? В чем их смысл?

2. Что означают слова «тематический больной»? Какую роль они играют в этом рассказе?

3. Как вы думаете, связаны ли с идейным смыслом рассказа имя и фамилия героя?

▸▸▸1. Охарактеризуйте героя рассказа. Почему у него постоянно возникают конфликты с окружающими людьми?

2. Можно ли Ваньку Тепляшина отнести к разряду шукшинских «чудиков»? Мотивируйте свой ответ.

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001)

И коль выпало на долю родной литературы заменить собой церковь, стать духовной опорой народа, она

должна была возвыситься до этой своей святой миссии. И она поднялась!

В. П. Астафьев

Основная идея произведений В. П. Астафьева – ответственность человека за все, что есть на Земле. Писатель провозглашает этические ценности, присущие народной жизни. Среди его произведений – «Стародуб», «Кража», «Где-то гремит война», «Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Печальный детектив», «Жизнь прожить», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты».

«Царь-рыба» оказалась одним из глубоких произведений русской прозы 70-х годов. Автор-рассказчик, наблюдая так называемый экологический разбой, пришел к выводу, что сейчас преобладают люди двух типов: браконьеры (переродившиеся потомки крестьян) и «туристы по жизни» (такие, как Гога Герцев). Автор заканчивает свое повествование цитатой из «Книги Екклезиаста»: «Всему свой час и время всякому делу под небесами». В уничтожении природы есть всемирно-историческая необходимость, неуклонность. На протяжении всего послевоенного времени люди не сбавляют темпы лесоповала, несмотря на предупреждение ученых: если эти темпы будут сохранены и впредь, то последнее на земле дерево человек свалит на земле через семьдесят лет. В «Книге Екклезиаста» есть и такие слова: «Что пользы живому, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст тогда смертный за душу свою?»

В словах «нет мне ответа», заканчивающих повесть, есть горькая правда: народного, человеческого измерения у процесса опустошения Земли нет. В этой книге Астафьев проявляет интерес не к поступку, а к процессам познания мира, не к событию, а его философскому объяснению. Все сюжетные линии «Царь-рыбы» подчинены авторскому публицистически страстному изучению противоречий жизни. «Я писал о том, что для меня было личным, кровным, а оказалось, мою тревогу разделяют многие и многие…» Свободная композиция, сюжетная раскованность, форма притчи – особенности повествования В. Астафьева.

Царь-рыба. ***Повествование в рассказах. Фрагменты***

В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе – Игнатьичем. Был он старшим братом Командора и как к брату,

так и ко всем остальным чушанцам, относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал, от людей не воротился, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату при дележе добычи, не крохоборничал. <…>

В студеный осенний морок вышел Игнатьич на Енисей, завис на самоловах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, вертелась возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.

С двух первых самоловов Игнатьич снял штук семьдесят стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, угодил он им под самую каргу, а это дается уж только мастерам высшей пробы, чтоб на гряду самуё не бросить – зависнет самолов и далеко не сплыть – рыба проходом минует самолов. Чутье, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится, нюх точится не сам собою, с малолетства побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке…

К третьему концу Игнатьич попал затемно, ориентир на берегу – обсеченная по макову елка, так хорошо видная темной колоколенкой даже на жидком снегу, уперлась в низкие тучи, мозглый воздух застелил берег, землю, жестяно и рвано отблескивающая в ночи река ломала и скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул кошку по дну реки, времени потерял уйму, промерз вроде бы до самых костей, но зато лишь подцепил, приподнял самолов, сразу почувствовал – на нем крупная рыбина!

Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка – и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которые сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались в воду, клевали острием носа борт лодки – у этих поврежден спинной мозг, вязига проткнута, этой рыбине конец: с порченым позвоночником, с проткнутым воздушным пузырем, с порванными жабрами она не живет. Налим, на что крепкущая скотина, но как напорется на самоловные уды – дух из него вон и кишки на телефон.

Шла тяжелая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем выше поднимал ее Игнатьич, тем грузнее она делалась, остойчивей упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков, – щелкают тогда крючки о

борт, ломаются спичками, берегись, не зазевайся, рыбак, – цапнет уда мясо иль одежду. И ладно, крючок обломится или успеешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе…

Незавидная, рисковая доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора – подкрадется во тьме, сцапает – сраму наберешься, убытку не сочтешь, сопротивляться станешь – тюрьма тебе. На родной реке татем живешь и до того выдрессировался, что ровно бы еще какой неведомый, дополнительный орган в человеке получился – вот ведет он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушел, азартом захвачен, устремления его – взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце – все в нем направлено к этой цели, каждый нерв вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в левой половине груди живет своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несет круглосуточно неусыпное дежурство. Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недреманным тьму ощупывает. Вдали огонек искрой мелькнул, а оно уж трепыхнулось, зачастило: какое судно? Опасность от него какая? Отцепляться ль от самолова, пускать ли рыбину вглубь? А она живая, здоровенная, может изловчиться и уйти.

Напряглось все в человеке, поредели удары сердца, слух напружинен до звона, глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот пробьет тело током, красная лампочка заморгает, как в пожарке: «Опасность! Опасность! Горим! Горим!»

Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной пороз со свинофермы Грохотало, прошла серединой реки. <…>

В этот миг напомнила, заявила о себе рыбина, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз, в глубину, с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осетр, большой, но уже умаянный. За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперед пошла, на стрежь, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных стерлядей,

стряхивая их с самолова. «Хватил дурило воздуху. Забусел!» – мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнатьич и вот увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково отблескивающий сутунок со вкось обломанными сучьями; крутые бока, решительно означенные острыми панцирями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толченом стекле, смешанном с дресвою. Что-то первобытное, редкостное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных, как бы червячных, усов, висящих под ровно сострогнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста – на доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.

Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на отур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей дюральки плащи осетра, закругленные водой. Летошний осетр еще и осетром не называется, всего лишь костерькой, после – карышем или кастрюком, похож он на диковинно растопыренную шишку иль на веретенце, по которому торчат колючки. Ни вида, ни вкуса в костерьке и хищнику никакому не слопать – распорет костерька, проткнет утробу. И вот – поди ж ты! – из остроносой колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На мормыше, на козявках и вьюнцах! Ну, не загадка ли природы?!

Совсем где-то близко закрякал коростель. Игнатьич напрягся слухом – вроде как на воде крякает? Коростель – птица долгоногая, бегучая, сухопутная и должна до сроку убегти в теплую сторону. А вот поди ж ты, крякает! На близком слуху – вроде как под ногами. «Не во штанах ли у меня закрякало?!» Игнатьич хотел, чтоб шутливые, несколько даже ернические штучки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но легкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта, того дикого азарта, жгучей, всепоглощающей страсти, от которой воет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло теплыми, прокислыми щами там, слева, где несло дежурство оно, недреманное ухо, око ли.

Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба показалась Игнатьичу зловещей. «Да что же это я? – поразился рыбак. – Ни Бога, ни черта не боюся, одну темну силу почитаю… Так, может, в силе-то и дело?» – Игнатьич захлестнул тетиву самолова за

железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава, осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечины величиною зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе.

Осетр висел на шести крючках. Игнатьич добавил ему еще пяток – боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в нее бьющей воде, взять на типок тетеву, чтобы пообрывать поводки самолова, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки. <…>

Упускать добычу такую нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому Якову. <…>

Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова – больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел ее, конечно, изловить, увидеть, но, само собой, и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить ее, клятую, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове и в сердце твердость – мало ли чего плели ранешние люди, знахари всякие и дед тот же, жили в лесу, молились колесу…

«А-а, была – не была!» – удало, со всего маху Игнатьич жихнул обухом топора в лоб «царь-рыбу» и по тому, как щелкнуло звонко, а не глухо, без отдачи гукнуло, догадался – угодило вскользь. Надо было не со всего дурацкого маху бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет не вопль – он ведь не городской придурок, он от веку рыбак, – просто тут, в лодке, дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно. Еще вдох, усилие – крепче в борт ногою, тверже упор. Но расходившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом не воды, нет, а комьями взорвалась река за бортом. Ожгло, ударило рыбака тяжестью по голове, давнуло на уши, полоснуло по сердцу. «А-

ах!» – вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту: слабеющим рассудком успел он еще отметить – «так вот оно как, на войне-то…».

Разгоряченное борьбой нутро оглушило, стиснуло холодом. Вода! Он хлебнул воды! Тонет! Кто-то его тащил за ногу вглубь. «На крючке! Зацепило! Пропал!» – и почувствовал легкий угол в голень ноги – рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатьича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность, промельк мысли: «Тогда что ж… Тогда все…» Но был ловец сильным, жилистым мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он сумел передолить не ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников излажены в одну сторону: «У райских врат стучаться бесполезно…» <…>

И рыба и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это ему, человеку, в тепло надо, он на земле обитает. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь – на одной ловушке, в холодной осенней воде. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя, дома, и ума у нее не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума достанет отпуститься от борта лодки. И все. Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему…

«Чем? В чем поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Не-ет! Не дамся, не да-а-амся!..» Ловец крепче сжал твердый бок лодки, рванулся из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлынувшей злостью взняться на руках и перевалиться за борт такой близкой, такой невысокой лодки! Но потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнули ногу рыбака. «Да что же это такое!» – всхлипнул Игнатьич, обвисая. Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно ее дыхания, слабо шевелилась на ней вода, он притаенно обрадовался – рыба засыпает, вот-вот она опрокинется вверх брюхом! Уморило ее воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком.

Он затих, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему. Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью. Она работала

жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Рыба рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву. Морок успокоительного сна накатывал на нее и на человека, утишая их тело и разум.

Зверь и человек в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один – медведь, волк, рысь – грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет – у зверя глаза умные, а на поросячьи, бессмысленно-сытые глаза – такое-то на свете бывало ль?

Хотя на свете этом все и всякое бывало, да не всем людям известно. Вот и он, один из многих человеков, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдет с рыбой в глубь реки, будет там болтаться, пока коленца не отопреют. А коленца-то капроновые, их до зимы хватит! Растеребит его удами в клочья, иссосут его рыба да вьюны, жучки-козявки разные да водяные блошки-вошки остатки доточат. И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вот старик-то Куклин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи, канул в воду – и с концом. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнет куда… <…>

– Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! – дернулся, завизжал Игнатьич и принялся дубасить рыбину по башке. – Уходи! Уходи! Ухо-ди-и-и-и!

Рыба отодвинулась, грузно взбурлила водою, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, приподнялся, достал подбородком борт, завис на нем. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слыхать. И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть:

– Ну, что тебе? – дребезжал он рваным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал. – Все одно околеешь… – Подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: —…Уснешь. Смирись! Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду, а ты кого? – и задрожал, зашептал губами, гаснущим шепотом зовя: – Бра-ате-ельни-и-и-ик!..

Прислушался – никакого отзвука! Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытье. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах

зазвенело, значит, совсем обескровел. Рыбу повернуло боком – она тоже завяла, но все еще не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осетра уже не крякали, лишь поскрипывали, будто крошка короед подтачивал древесную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры.

По реке чуть посветлело. Далекое небо, луженное изнутри луной и звездами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребенное сено, почему-то не сметанное в стога, сделалось выше, отдаленней, и от осенней воды пошло холодное свечение. Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретый слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глубин со дна реки проник наверх. Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучше наверх, на небо смотреть.

Вспомнился покос на Фетисовой речке, отчего-то желтый, ровно керосиновым фонарем высвеченный или лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо и хруста под ногами, теплого, сенного хруста. Среди покоса длинный зачесанный зарод с острием жердей, торчащих по полого осевшему верху. Почему же все желтое-то? Безголосое? Лишь звон густеет – ровно бы под каждым стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу утаилось, и без передыху звонят они, заполняя все вокруг нескончаемой, однозвучной, усыпляющей музыкой пожухлого, вялого лета. «Да я же умираю! – очнулся Игнатьич. – Может, я уж на дне? Желто все…»

Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал – рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить в себе зародившуюся жизнь.

«Да уж не оборотень ли это?!»

По тому, как вольготно, с сытой леностью подремывала рыба на боку, похрустывала ртом, будто закусывая пластиком капусты, упрямое стремление ее быть ближе к человеку, лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздем процарапаны полосы, картечины глаз, катающиеся без звука под панцирем лба, отчужденно, однако ж не без умысла вперившийся в него бесстрашный взгляд – все-все подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, что-то греховное, человечье есть в муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то сладостное, тайное перед кончиной.

Но что она может вспоминать, эта холодная водяная тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушачьей жидкой коже, за усами беззубое отверстие, то сжимающееся в

плотно западающую щель, то отрыгивающее воду в трубку. Чего у нее еще было, кроме стремления кормиться, копаясь в илистом дне, выбирая из хлама козявок?! Нагуливала она икру и раз в году терлась о самца или о песчаные водяные дюны? Что еще было у нее? Что? почему же он раньше-то не замечал, какая отвратная эта рыба на вид! Отвратно и нежное бабье мясо ее, сплошь в прослойках свечного, желтого жира, едва скрепленное хрящами, засунутое в мешок кожи; ряды панцирей в придачу, и нос, и глазки, плавающие в желтушном жиру, требуха, набитая грязью черной икры, какой тоже нет у других рыб, – все-все отвратно, тошнотно, похабно!

И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, не было. В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы. На уроках, за партой, диктант пишет, бывало, или стишок слушает, а умственно на реке пребывает, сердце дергается, ноги дрыгаются, кость в теле воет – она, рыба, поймалась, идет! Идет, идет! Пришла вот! Самая большая! Царь-рыба! Да будь она… Сколь помнится, все в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за рыбой этой проклятой. На Фетисовой речке родительский покос дурниной затянуло, захлестнуло. В библиотеку со школы не заглядывал – некогда. Был председателем школьного родительского комитета – содвинули, переизбрали: не заходил в школу. Наметили на производстве депутатом в поссовет – трудяга, честный производственник, и молча отвели – рыбачит втихую, хапает, какой из него депутат? В народную дружину и в ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, вяжите их, воспитывайте, ему некогда, он все время в погоне. Его-то никакой бандюга не достанет! Ан и достали. Тайку-то, племяшку, любимицу!..

А-ах, ты, гад, бандюга! Машиной об столб, юную, прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый, яичко голубиное – всмятку. Девочка небось в миг последний отца родимого, дядю любимого вспомнила, пусть умственно, про себя кликнула. А они? Где были они? Чего делали? По реке они, по воде на моторках бегали, за рыбой гонялись, хитрили, изворачивались, теряя облик человеческий… <…>

Игнатьич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, бронею защищающий хрящевину башки, желтые и синие жилки-былки меж хрящом путаются. Озаренно, в подробностях обозначилось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя

наваждение, заслонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил.

Пришла пора отчитаться за грехи, пробил крестный час. <…>

Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и неба, холод и мгла – все слилось воедино, остановилось и начало каменеть. Ни о чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, даже боль и душевные муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, переходил в иной мир, сонный, мягкий, покойный, и только тот, что так давно обретался там, в левой половине его груди, под сосцом, не соглашался с успокоением – он никогда его не знал, сторожился сам и сторожил хозяина, не выключая в нем слух. Густой комариный звон прорезало напористым, уверенным звоном из тьмы и ткнуло – под сосцом, в еще неостывшем теле вспыхнул свет. Человек напрягся, открыл глаза – по реке звучал мотор «Вихрь». Даже на погибельном краю, уже отстраненный от мира, он по голосу определил марку мотора и честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанью, хотел крикнуть брата, но жизнь завладела им, пробуждала мысль. Первым ее током он приказал себе ждать: пустая трата сил, их осталась кроха, орать сейчас. Вот заглушат моторы, повиснут рыбаки на концах, тогда зови-надрывайся.

Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о железо рыбу, и она, отдохнувшая, скопившая силы, неожиданно вздыбила себя, почуяв волну, которая откачала ее когда-то из черной мягкой икринки, баюкала в дни сытого покоя, весело гоняла в тени речных глубин, сладко мучала в брачные времена, в таинственный час икромета.

Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду, и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Еще и еще била рыба хвостом, пока не снялась с самолова, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки смертельных уд.

Яростная, тяжко раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную царь-рыбу.

«Иди, рыба, иди! Я про тебя никому не скажу. Поживи сколько сможешь!» – молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу – оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, а душе – от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения.

Вопросы и задания

1. Прочитайте предложенный текст из произведения Астафьева «Царь-рыба», подумайте над его смыслом.

2. Проанализируйте раздумья Игнатьича. О чем сожалеет он и почему?

3. Почему стало на душе Игнатьича легче, когда освободилась царь-рыба? Почему он обещает никому ничего не говорить о ней?

1. Какими художественными средствами передает свое отношение писатель к миру природы?

2. Какие особенности авторского повествования вы заметили?

Идея преемственности поколений – главная в повести **«Последний поклон».** В значительной мере она автобиографична и рассказывает о детстве и юности главного героя Вити, судьба которого связана с жизнью многих людей, счастливых и неудачных. Большую роль в его жизни сыграла бабушка, внешне суровая, но очень добрая, отзывчивая, отдавшая людям много тепла и доброты. «В дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходит пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, – очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с ней, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.

„Что же за болезнь такая у тебя, бабушка?“ – как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с ней на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, бабушка неторопливо начинала повествовать о себе:

– Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет я в работе, в труде. У тяти и у мамы я семая была, да своих десятину подняла… Это легко только сказать. А вырастить?! Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни».

Когда умерла бабушка, Витя находился на Урале, работал на заводе, и его не отпустили на похороны: к бабушке – не положено.

«Я еще не осознавал тогда всю огромность потери, постигшей меня. Случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть глаза бабушке, отдать ей последний поклон.

И живет в сердце вина. Гнетущая, тихая, вечная. Виноватый перед бабушкой, я пытаюсь воскресить ее в памяти, поведать о

ней другим людям, чтоб в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыскали они ее, и была бы ее жизнь беспредельна и вечна, как вечна сама человеческая доброта».

Валентин Григорьевич Распутин (Родился в 1937 году)

Валентин Григорьевич Распутин родом из села Усть-Уда Иркутской области. В памяти остались уход на фронт отца, голодные послевоенные годы, описанные в рассказе «Уроки французского». По словам писателя, такие воспоминания детства, как описанные в этом рассказе, греют даже при слабом прикосновении к ним.

В повестях Распутина выражена глубочайшая любовь к сибирской деревне, ее людям. Эти люди «наедине с природой и трудами… всю жизнь при истине и Боге… не распылили и не раскрошили свою жизнь на кривые побегушки по пустым весям, учениям и страстям». Благоговейное и трепетное отношение вызывает у писателя природа Сибири. «И теперь еще я в буквальном смысле обмираю, теряя себя, когда где-нибудь вдали от людской толчеи расстелется вдруг перед глазами, особенно в вечерние часы, такая красота и благодать, что нельзя не ощутить себя счастливым. И одновременно нельзя не испытывать боли, пусть сладкой, но все-таки боли, оттого, что ты немее всех в этом мире, ибо и в малой доле не дано тебе выразить его словами. Кажется, только Бунину удавалось иногда считывать чудесные „сказания“ со страниц Природы», – делился Распутин своими раздумьями в одном из интервью.

Единение человека и природы, сложность внутреннего мира человека – эти проблемы объединяют повести Распутина: «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар».

Деньги для Марии. *Фрагменты*

В семью тракториста Кузьмы и сельской продавщицы Марии пришла беда. При ревизии оказалась у Марии недостача в тысячу рублей, на сумму для этой семьи неимоверно большую. Понимая, что растрата совершена без злого умысла, наоборот, по доверчивости и доброте, по незнанию бухгалтерского дела (с фактурой в сельпо обмануть могли, не всегда сама ездила товар получать, целый год учета не было), сочувствуя семье с детьми, ревизор предлагает Марии и Кузьме в пятидневный срок

внести в кассу деньги, пока он будет объезжать с ревизией другие точки. В этом случае он сможет дело не поднимать. Иначе – Марию ожидает суд…

Муж Марии Кузьма идет к односельчанам занять нужную сумму денег.

Сначала Кузьма явился к председателю колхоза, который пообещал дать ссуду по окончании отчетного года, а пока посоветовал под эту ссуду позанимать деньги у односельчан.

С неохотой, оговорками, многословием о необходимости выручать друг друга согласился дать сто рублей директор школы Евгений Николаевич – ему придется ехать в район и снимать с книжки.

<…> Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали – опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый – уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить Бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинскими. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем

девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет – откроет магазин, не захочет – не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар – попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны, как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца – в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь – когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить – деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно, – нет, надо терять день, а то и два.

Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие – но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за прилавок ее сразу не поставишь – значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно – вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином – тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если

кому надо в магазин – крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

– Тут и не такие головы летели, куда уж мне, – отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

– Смотри сама, Мария. – И отшутился: – Если что – корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

– Не знаю, как и быть, – повторяла она.

В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыла, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно все и вышло. <…>

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор наконец приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить – было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее, – с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула – даже не уснула, а забылась, не страдая, – так пусто и хорошо стало на душе. <…>

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет и поможет.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке – на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег

в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

– Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

– Зайду, – пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее.

Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

– Ну как, был у брата?

– Был, ага, заходил.

– И как он там?

– Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, – уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

– Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем отрезанный ломоть – и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов, брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

– Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

– Не даст он, – помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала. <…>

> Неудачным оказалось посещение Степаниды, женщины денежной, но весьма скупой. Никакие просьбы бригадира Василия и родной племянницы на нее не подействовали. Она бы, по ее словам, с удовольствием дала бы деньги для спасения Марии, но у нее их нет. Скупость довела Степаниду до такого состояния, что она не может даже снять с книжки для самой себя, так люди могут узнать. Однако, все и так знают.
>
> На второй день Василий повел Кузьму к своей больной матери, тетке Наталье.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели – никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тетка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

– Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

– Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тетке Наталье.

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних

сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нем Кузьма не сразу и разглядел тетку Наталью.

– Мать! – позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

– Василий пришел. А второй – Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

– Давно, тетка Наталья.

– Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

– Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось, – говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

– Болит-то шибко? – спросил Кузьма.

– Совсем не болит. А ходить не могу. Встану – ноги не держат. Слабая.

– Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхай теперь.

– А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

– Раз вставала, значит, и еще встанешь.

– Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

– Мать, у тебя деньги есть?

– Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

– Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него.

Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

– У меня эти деньги на смерть приготовлены, – сказала тетка Наталья.

Кузьма удивился:

– Теперь что – и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

– Не-е. – Глаза у тетки Натальи слабо блеснули. – Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

– Будто мы бы тебе поминки не сделали, – буркнул Василий.

– Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подолгу меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

– Мария-то сильно плачет?

– Плачет.

– Деньги тебе отдам, а тут смерть… Как тогда?

– Опять ты, мать, об этом, – поморщился Василий.

– Я ей уже согласие дала, – виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед святой, она отошла чуть в сторонку, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать.

– Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

– Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подожду. Но ты, Кузьма, не задерживай. Силенок совсем не стало.

– Ты лучше поправляйся, тетка Наталья, – зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

– А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

– Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

– На похороны-то придешь?

Он замялся.

– Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света. <…>

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ – ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Несладко было смотреть, как падает зерно, – после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки – да много ли этим уберешь, когда и людей и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома – не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил, и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, еще и навредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии.

Хотели снова назначить его председателем – нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли, – будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

– Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

– Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

– Все вместе, что ли?

– Ага, все вместе.

– Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

– Бухгалтер не приехал?

– Нет, он к вечеру будет, не раньше.

– Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

– Кто?

– Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

– Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты.

Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

– Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так

давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

– Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с краю.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.

Наконец он начал:

– Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какое дело. – Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил – спокойным, ровным голосом. – Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, история хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

– Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

– Тебя никто не спрашивает. Спросят – тогда скажешь. – Председатель повернул голову к другой стене. – Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным, и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними как на судилище и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже

пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан.

Но кто-то сказал:

– Дать, конечно, надо.

– Надо дать, – твердо повторил председатель. – Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

– Согласны, чего там! – ответил за всех агроном. Остальные молчали.

– Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

– Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? – оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

– Ты ничего не должен, – недобрым голосом сказал председатель. – Это дело добровольное. Не хочешь – забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.

– Да я согласен, согласен, – торопливо закивал ветеринар.

– Смотри сам.

– Согласен, согласен.

– Не надо полностью. – Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. – Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. – Теперь он говорил специалистам: – Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали…

Председатель оборвал его:

– Ты тут не торгуйся. Дают – бери, бьют – беги, а торговаться нечего.

– Так у меня совесть-то есть или нету?

– Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? – Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами. – Завтра придешь и получишь все деньги, или можешь Марии

сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

– Да я разве…

– Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроем: председатель, агроном и Кузьма.

Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

– Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

– Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться. <…>

Желая помочь Кузьме и Марии, председатель пошел на решительный шаг и созвал на совет специалистов. Что же за человек этот председатель?

Вечером, как и обещал, принес деньги Евгений Николаевич, поинтересовался, дадут ли ссуду. «Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет».

Наступил третий день. Кузьма пошел получать деньги в контору, ожидал шестьсот сорок рублей. Но начались неожиданности. Сначала подошел механик, попросил дать часть своей зарплаты, чтобы принять в гости товарища. Недоброжелательно встретил его бухгалтер, который объявил, что свою зарплату отдать не может – не знал о решении, когда получал для коллектива деньги в городе, и истратил ее в магазине: жене на зиму тужурку купил, себе валенки. И говорил об этом с явным удовольствием. Домой к Кузьме пришла жена ветеринара.

Губы ее задрожали сильнее:

– А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

– Мы их месяц ждали. – Голос у нее подрагивал, сдерживался,

чтобы не забиться, не заплескаться. – У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь? <…>

Пришлось отдать деньги жене ветеринара. Вновь их стало мало. И тогда Кузьма решается ехать в город к брату Алексею, с которым не виделся семь лет. Брат, говорят, живет хорошо, но, считая его отрезанным ломтем, Кузьма и Мария не надеялись, что он поможет. Однако безвыходность создавшегося положения заставила Кузьму ехать. Именно со сборов в поездку и начинается повесть «Деньги для Марии». Все приведенные выше эпизоды вспоминаются Кузьме уже в пути, перемежаются его собственными размышлениями о жизни, Марии, деньгах, односельчанах, наблюдениями за попутчиками. Итак, он подъезжает к городу.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поежился, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он падает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть.

Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока еще редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат как спасение из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас – это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился – после этого, как добрый знак, чтобы она зря не

маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей – все смотрят в окна и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице. Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал – молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

Вопросы и задания

▶1. Почему Мария согласилась работать продавщицей, хотя у нее не было опыта, необходимых знаний?

2. В чем причины крупной недостачи у Марии?

3. Как складываются отношения Кузьмы и Марии с односельчанами после прихода в их дом беды?

4. Зачем Распутин проводит Кузьму в поисках денег от дома к дому односельчан? Покажите, как меняется психологическое состояние Кузьмы.

▶▶1. Как вы думаете, почему события первых трех дней представлены в повести как воспоминания Кузьмы во время его поездки к брату в город? В чем смысл такого композиционного приема?

2. Почему финал повести остается открытым?

▶▶▶1. Почему Кузьма идет даже в те дома, хозяева которых явно ему не помогут (Степанида)? Только ли тяжелое положение героя ведет его к этим людям? Почему Кузьма обращается к тем, от кого нелегко получать помощь (Евгений Николаевич)?

2. Проанализируйте сцену собрания специалистов. Какова основная идея этого эпизода повести? Попытайтесь определить позицию автора.

Александр Валентинович Вампилов (1937–1972)

Александр Вампилов молодым вошел в литературу и молодым остался в восприятии читателей и зрителей.

Будущий драматург родился в семье обрусевшего бурята, учителя словесности, в 1937 году. Учителем математики была мать Вампилова Анастасия Прокопьевна, человек большого такта и благородства.

После окончания школы Вампилов продолжает учебу на историко-филологическом факультете Иркутского университета. В 1960 году он окончил университет, а в следующем году вышел первый сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств». Затем писал пьесы, которые не сразу были высоко оценены и поставлены на сцене. Главное признание и даже слава пришли после его трагической гибели.

У Вампилова-драматурга особый мир. В нем нет крупномасштабных событий. Изображается будничная атмосфера, действуют самые обыкновенные люди с их повседневными заботами и интересами – все как в жизни. Как правило, действие происходит в провинции, таежной глубинке, либо на окраине большого города. Автор внимательно всматривается в быт, характеры, психологию людей. Предместье писатель рассматривает не как территориальное понятие, а как понятие нравственное. Герои пьес Вампилова показаны в напряженные периоды их жизни, в самые решительные моменты, когда нужно расстаться с плохим, бездуховным. Они поставлены в такую ситуацию, которая требует решительного шага, от которого зависит вся дальнейшая судьба.

Старший сын. *Фрагменты*

Два молодых человека, студент Бусыгин и Сильва, случайно оказались поздно вечером в предместье, опоздали на автобус и потому пытаются найти себе ночлег. Однако никто их к себе не пускает, и формула «Человек человеку брат» звучит в данном контексте почти издевательски. Случайно узнав фамилию, имя, отчество и адрес одного из жильцов дома, они в его отсутствие приходят в квартиру, знакомятся с сыном и дочерью, а затем совершенно неожиданно, произнеся фразу о «страждущем брате», выдают студента Бусыгина за старшего сына хозяина. Пришедший домой Сарафанов вспоминает свою военную молодость и находит возможным признать утверждение молодых людей за правду.

Жестокий розыгрыш, казалось бы, удался, но тут сюжет, начатый шуткой, фарсом приобретает неожиданный поворот. Доверчивость, некоторая наивность, даже романтичность Сарафанова, его склонность к фантазии (воображает себя одаренным музыкантом, пишет музыкальное сочинение, скрывает от родных, что уже не работает в филармонии, а зарабатывает на хлеб в оркестре на похоронных процессиях и т. д.) защитили его от возможной трагедии. Хотя Сарафанов подчас выглядит чудаком, держась за романтические идеалы молодости, сила его в том, что он не хочет зачерстветь, раствориться в суете, покрыться плесенью. И происходит совершенно неожиданное: когда «младшие» дети хотят уехать из дома, появляется этот так называемый старший, случайно явившийся, но ставший по настоящему родным. Бусыгин, который рос в детстве без отца, сумел оценить доброту и незащищенность Сарафанова, полюбить его. И когда обман разоблачается, старик все равно не отказывается от «сына» и настаивает, чтобы тот переехал жить из общежития к нему. Вампилов в пьесе показывает преимущество духовного родства людей над формальными родственными связями.

Картина вторая, которую мы предлагаем вам прочесть, представляет сцену знакомства Сарафанова с Бусыгиным.

Действие первое

Картина вторая

Входят **Бусыгин и Сильва**. <…>

Входит **Васенька** с бутылкой водки, стаканами. Ставит на стол. Он смущен и растерян.

Сильва (*наливает*). Да ты не расстраивайся! Если разобраться, у всех у нас родни гораздо больше, чем полагается… За вашу встречу!

Пьют. Васенька с трудом, но выпивает.

Жизнь, Вася, – темный лес, так что ты не удивляйся. (*Наливает снова.*) Мы сейчас с поезда. Он меня просто замучил и сам извелся: заехать – не заехать? А повидаться надо. Сам понимаешь, в какое время живем.

Бусыгин (*Васеньке*). Сколько тебе лет?

Васенька. Мне? Семнадцатый.

Сильва. Здоровый парнюга!

Бусыгин (*Васеньке*). Что ж… твое здоровье.

Сильва. Стоп! Не так пьем. Не интеллигентно. Нет ли чего закусить?

Васенька. Закусить?.. Конечно, конечно! Пошли на кухню!

Сильва (*останавливает Васеньку*). Может, ему сегодня отцу не показываться, как ты думаешь? Нельзя же так с ходу, неожиданно. Мы посидим немножко и… придем завтра.

Васенька (*Бусыгину*). Ты не хочешь его видеть?

Бусыгин. Как тебе сказать… Хочу, но рискованно. Боюсь за его нервы. Ведь он обо мне ничего не знает.

Васенька. Ну что ты! Раз ты нашелся, значит, нашелся.

Все трое уходят в кухню. Появляется **Сарафанов**. Он проходит к двери в соседнюю комнату, открывает ее, затем осторожно закрывает. В это время Васенька выходит из кухни и тоже закрывает за собой дверь. Васенька заметно опьянел, его обуяла горькая ирония.

Сарафанов (*замечает Васеньку*). Ты здесь… А я прогулялся по улице. Там дождь пошел. Я вспомнил молодость.

Васенька (*развязно*). И очень кстати.

Сарафанов. В молодости я, бывало, делал глупости, но я никогда не доходил до истерики.

Васенька. Слушай, что я тебе скажу.

Сарафанов (*перебивает*). Васенька, так поступают только слабые люди. Кроме того, не забывай, остался только месяц до экзаменов. Школу тебе все-таки надо кончить.

Васенька. Папа, пока ты гулял по дождичку…

Сарафанов (*перебивает*). И в конце концов, не можете же вы так сразу – и ты и Нина. Нельзя же так… Нет-нет, никуда ты не уедешь. Я тебя не пущу.

Васенька. Папа, у нас гости, и необычные гости… Вернее, так: гость и еще один…

Сарафанов. Васенька, гость и еще один – это два гостя. Кто к нам пришел, говори толком.

Васенька. Твой сын. Твой старший сын.

Сарафанов (*не сразу*). Ты сказал… Чей сын?

Васенька. Твой. Да ты не волнуйся… Я, например, все это понимаю, не осуждаю и даже не удивляюсь. Я ничему не удивляюсь…

Сарафанов (*не сразу*). И такие-то шутки у вас в ходу? И они вам нравятся?

Васенька. Какие шутки? Он на кухне. Ужинает.

Сарафанов (*внимательно смотрит на Васенъку*). Кто-нибудь

там ужинает. Возможно… Но знаешь, милый, что-то ты мне не нравишься… (*Разглядел.*) Постой! Да ты пьян, по-моему!

Васенька. Да, я выпил! По такому случаю.

Сарафанов (*грозно*). Кто разрешил тебе выпивать?!

Васенька. Папа, о чем речь? Тут такой случай! Я никогда не думал, что у меня есть брат, а тут – пожалуйста. Иди взгляни на него, ты еще не так напьешься.

Сарафанов. Ты что, шельмец, издеваешься?

Васенька. Да нет, я говорю серьезно. Он здесь проездом, очень по тебе соскучился, он…

Сарафанов. Кто – он?

Васенька. Твой сын.

Сарафанов. Тогда кто ты?

Васенька. А! Разговаривай с ним сам!

Сарафанов (*направляется к кухне; услышав голоса, останавливается у двери, возвращается к Васеньке*). Сколько их там?

Васенька. Двое. Я тебе говорил.

Сарафанов. А второй? Он тоже хочет, чтобы я его усыновил?

Васенька. Папа, они взрослые люди. Сам подумай, зачем взрослому человеку родители?

Сарафанов. По-твоему, не нужны?

Васенька. А, прости, пожалуйста. Я хотел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители.

Молчание.

Сарафанов (*прислушивается*). Невероятно. Свои дети бегут – это я еще могу понять. Но чтобы ко мне приходили чужие да еще взрослые! Сколько ему лет?

Васенька. Лет двадцать.

Сарафанов. Черт знает что!.. Ты сказал, двадцать лет?.. Бред какой-то… Лет двадцать… (*Задумывается поневоле.*) Двадцать лет… двадцать… (*Опускается на стул.*)

Васенька. Не огорчайся, папа. Жизнь – темный лес…

Из кухни вышли было Бусыгин и Сильва, но, увидев Сарафанова, отступают назад и, приоткрыв дверь, слушают его разговор с Васенькой.

Сарафанов. Двадцать лет… Закончилась война… Двадцать лет… Мне было тридцать четыре года… (*Поднимается.*)

Бусыгин прикрывает дверь.

Васенька. Я понимаю, папа…

Сарафанов (*вдруг рассердился*). Да что вспоминать! Я был солдат! Солдат, а не вегетарианец! (*Ходит по комнате.*)

Бусыгин, когда это возможно, приоткрывает дверь из кухни и слушает.

Васенька. Я тебя понимаю.

Сарафанов. Что?.. Что-то слишком много ты понимаешь! С твоей матерью мы еще не были знакомы, имей в виду!

Васенька. Я так и думал, папа. Да ты не расстраивайся, если разобраться…

Сарафанов (*перебивает*). Нет-нет! Глупости… Черт знает что…

Сарафанов находится между кухней и дверью в прихожую. Таким образом, у Сильвы и Бусыгина нет возможности бежать. <…>

Бусыгин и Сильва мгновенно делают вид, будто они только что вышли из кухни. Молчание.

Бусыгин. Добрый вечер!

Сарафанов. Добрый вечер!

Молчание.

Васенька. Ну, вот вы и встретились… (*Бусыгину.*) Я все ему рассказал… (*Сарафанову.*) Не волнуйся, папа…

Сарафанов. Вы… садитесь… Садитесь! (*Пристально разглядывает того и другого.*)

Бусыгин и Сильва садятся.

(*Стоит.*) Вы… недавно с поезда?

Бусыгин. Мы… собственно, давно. Часа три назад.

Молчание.

Сарафанов (*Сильве*). Так… Вы, значит, проездом?

Бусыгин. Да… Я возвращаюсь с соревнований. Вот… решил повидаться…

Сарафанов (*все внимание на Бусыгина*). О! Значит, вы спортсмен! Это хорошо… Спорт в вашем возрасте, знаете… А сейчас? Снова на соревнования? (*Садится.*)

Бусыгин. Нет. Сейчас я возвращаюсь в институт.

Сарафанов. О! Так вы студент!

Сильва. Да, мы медики. Будущие врачи.

Сарафанов. Вот это правильно! Спорт спортом, а наука наукой. Очень правильно… Прошу прощения, я пересяду. (*Пересаживается ближе к Бусыгину.*) В двадцать лет на все хватает времени – и на учебу и на спорт; да-да, прекрасный возраст… (*Решился.*) Вам двадцать лет, не правда ли?

Бусыгин (*печально, с мягкой укоризной*). Нет, вы забыли. Мне двадцать один.

Сарафанов. Что?.. Ну конечно! Двадцать один, разумеется! А я что сказал! Двадцать? Ну конечно же двадцать один…

Сильва. Да вы не огорчайтесь. Ведь если разобраться, тут радоваться надо, а не огорчаться. По-моему.

Васенька. В самом деле, папа.

Сарафанов. Я – конечно… Я рад… (*Искательно.*) Мы все здесь рады, не правда ли?

Бусыгин. Конечно… Больше всех – я.

Сарафанов (*приободрившись*). Васенька, есть у нас что-нибудь выпить? Дай нам выпить!

Васенька. Это можно. (*Уходит на кухню.*) <…>

Наутро Сарафанов поведал Бусыгину о своей жизни, ее трудностях, о своем прошлом, о романе с Галиной Александровной, работницей швейной мастерской, предполагаемой, по его мнению, матерью Владимира Бусыгина, о том, как ушла от него жена, оставив Нину и Васеньку, рассказал о жизненных планах Нины, о своей тревоге за Васеньку, который безответно влюблен в Наташу Макарскую, женщину намного его старше, о стремлении младшего сына уехать из дома, чтобы убежать от своей личной драмы. И наконец, просит Бусыгина как старшего брата поговорить с младшим, помочь ему найти правильное решение.

Бусыгин же по мере углубления знакомства с домом Сарафанова привязывается к его обитателям и начинает действительно чувствовать себя старшим братом, готовым помогать Васеньке, опекать «отца». Только вот Нина вызывает у него не братские, а более интимные чувства, он ревнует ее к жениху, летчику Кудимову, человеку рационалистичному и приземленному, да и она, кажется, заинтересовалась Бусыгиным…

В это время Васенька, узнав, что у него появился счастливый соперник, Сильва, во время свидания Макарской и Сильвы делает попытку поджечь ее дом. В результате сгорают брюки Сильвы, и тот вбегает к Сарафановым, просит, чтобы ему дали в долг другие

брюки.

Действие второе

Картина вторая

Сарафанов появляется с брюками в руках.

Сильва (*в дверях*). Ну, спасибо тебе, старичок, за все спасибо. Настоящий ты оказался друг… Я ухожу. Но вначале я должен открыть глаза общественности. Хату поджег он (*указывает на Бусыгина*), а не кто-нибудь. И воду тут у вас мутит тоже он. Учтите, он рецидивист. Не заметили?.. Ну смотрите, он вам еще устроит. И между прочим (*Нине*), он тебе такой же брат, как я ему племянница, учти это, пока не поздно. (*Сарафанову.*) А вы, папаша, если вы думаете, что он вам сын, то вы крупно заблуждаетесь. Я извиняюсь.

Сарафанов. Вон отсюда! Вон!

Сильва исчезает.

Сарафанов. Мерзавец!

Небольшая пауза.

Бусыгин. Но он прав.

Сарафанов. Кто прав?

Бусыгин. Я вам не сын.

Сарафанов. Что такое?.. Что это значит?

Бусыгин. Я вам не сын. Я обманул вас вчера.

Сарафанов. Володя! Что ты говоришь!..

Бусыгин. Поймите, я не хотел! Все вышло случайно. Вчера, когда вы (*в сторону Манарской*) к ней стучались, я узнал ваше имя и заметил вашу квартиру. С этого все и началось. Мы хотели согреться и уйти…

Макарская. Погоди! Это ты искал вчера, где переночевать?

Бусыгин. Да. Все вышло само собой. Утром, вместо того чтобы уйти…

Сарафанов. Это невозможно… Не верю. Не верю. Быть этого не может!

Бусыгин. Я надеюсь, что вы меня простите, потому что я… В общем, я рад, что попал к вам…

Сарафанов. Значит, ты мне… Выходит, я тебе… Как же так?..

Да нет, я не верю! Скажи, что ты мой сын!.. Ну! Сын, ведь это правда? Сын?!

Бусыгин. Нет…

Сарафанов. Кто же ты? Кто?!

Нина. Он – псих. Он настоящий псих, а мы все только учимся. Даже ты, папа, по сравнению с ним школьник. Он настоящий сумасшедший…

Васенька. Ну и дела…

Макарская. Да-а, история…

Сарафанов. Но я, я не верю! Не хочу верить!

Бусыгин. Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын. (*Взглянув на Нину.*) Но факт есть факт.

Сарафанов. Не верю! Не понимаю! Знать не хочу! Ты – настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!

Нина (*Бусыгину*). Я тебе говорила… (*Сарафанову, весело.*) А я? А Васенька? Интересно, ты еще считаешь нас своими детьми?

Сарафанов. Нина! Вы все мои дети, но он… Все-таки он вас постарше.

Все смеются.

Макарская. Чудные вы, между прочим, люди.

Нина (*смеется*). Чудные – чуть дом не сожгли.

Макарская махнула рукой.

Сарафанов. То, что случилось, – все это ничего не меняет. Володя, подойди сюда…

Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов – все рядом. Макарская в стороне.

Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. (*Всем троим.*) Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное…

Макарская. Извините, конечно. (*Бусыгину.*) Но я хочу спросить. У тебя родители имеются?

Бусыгин. Да… Мать в Челябинске.

Нина. Она одна? (*Смеется.*) Папа, тебя это интересует?

Бусыгин. Она живет с моим старшим братом.

Нина. А сам ты? Как ты сюда попал?

Бусыгин. Я здесь учусь.

Сарафанов. Где же ты живешь?

Бусыгин. В общежитии.

Сарафанов. В общежитии. Но ведь это далеко… и неуютно. И

вообще, терпеть не могу общежитий… Это я к тому, что… Если бы ты согласился… Словом, живи у нас.

Бусыгин. Нет, что вы…

Сарафанов. Предлагаю от чистого сердца… Нина! Чего же ты молчишь? Пригласи его, уговори.

Нина (*капризно*). Ну с какой стати? Почему он должен жить у нас? Я не хочу.

Бусыгин. Я буду вас навещать. Я буду бывать у вас каждый день. Я вам еще надоем.

Сарафанов. Володя! Я за то, чтобы ты у нас жил, – и никаких.

Бусыгин. Я приду завтра.

Нина. Когда?

Бусыгин. В семь… В шесть часов… Кстати! Который час?

Нина. Половина двенадцатого.

Бусыгин. Ну вот. Поздравьте меня. Я опоздал на электричку.

Занавес

Вопросы и задания

▶1. Почему Сарафанов поверил Бусыгину, что тот действительно является его старшим сыном?

2. Почему Сарафанов отказывается верить разоблачению Бусыгина и его собственному признанию?

3. Как бы вы охарактеризовали взаимоотношения Сарафанова с Ниной и Васенькой?

4. Что влечет Бусыгина к Сарафанову и его семье? Почему он постоянно откладывает свой отъезд и фактически принимает на себя роль старшего сына и брата?

▶▶▶1. Сопоставьте отношения Бусыгина и родных детей Сарафанова к отцу. Что общего и различного вы находите в чувствах героев? В чем причины?

2. Какую роль, по-вашему, играет в пьесе Сильва, придумавший историю со «старшим сыном»? Как вы думаете, почему он носит такое прозвище?

3. Какие нравственные проблемы подняты драматургом в этой пьесе?

4. Как вы думаете, правдоподобна ли ситуация, изображенная в пьесе? Мотивируйте свое мнение.

Булат Шалвович Окуджава (1924–1997)

Мы романтики старой закалки…

Новелле Матвеевой

Мы романтики старой закалки
из минувшей и страшной поры.
Мы явились на свет из-под палки,
чтоб воспеть городские дворы.

Струн касались рукою привычной,
и метался меж нами, как зверь,
целомудренный ангел столичный,
одурев от любви и потерь.

Ну, а нынче, запутавшись между
давней страстью своей и виной,
расплатиться хотим за надежду
самой горькой дворовой ценой.

Так в стихотворении, обращенном к Новелле Матвеевой, Булат Окуджава оценивает и свое творчество, и творчество близких ему поэтов, создателей авторской песни. Трагическое ощущение жизни, поиски доброго начала, мягкое, лиричное осмысление происходящего связаны с впечатлениями детства и юности.

В годы сталинского террора был расстрелян отец, репрессирована мать. В 1942 году Окуджава добровольцем ушел на фронт. После окончания в 1950 году Тбилисского университета работал в школе учителем. Разлука с отцом и матерью, семейная трагедия не давали покоя поэту, и он во многих стихотворениях в той или иной форме обращался к волновавшей его теме.

Письмо к маме

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне намордник, воля – за стеной.
Ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть…
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой трехэтажный мат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Чуть за Красноярском – твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Все ему подвластно, да опять не рад…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Стихотворение написано уже в зрелом возрасте, и многое осмысливается уже по-новому. Поэт стремится понять, почему все так произошло и с его семьей, и со страной. Но что-то остается не совсем ясным.

Вопросы и задания

▸1. Почему каждая строфа завершается одними и теми же строками, относящимися и к простому солдату, и к следователю, и к конвоиру, и к «вождю народов»?

▸▸▸1. Попробуйте прокомментировать строки:

Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Неужели Окуджава действительно призывает к прощению палачей? Может, в этих строках заложен какой-то иной смысл? Ведь в других стихотворениях нарисован поэтом почти гротескный образ Сталина.

Булат Шалвович начал печатать свои стихотворения с 1953 года. Многие из них посвящены войне, воспоминаниям о ней. В одном из таких стихов создан романтический образ московского мальчишки, по-рыцарски благородного, верного друга, ставшего воином и погибшего на полях сражений. В стихотворении соединяются две темы – военная и московская, столь любимая автором, что отчетливо проявляется во второй части и особенно в финале.

Король

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему званье короля.
Был король, как король, всемогущ.
И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку, – и спасет.
Но однажды, когда «мессершмитты»,
как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку,
как корону —
набекрень, и пошел на войну.
Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.
Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так погулять),
все мне чудится, что вот
за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.
Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Леньки сырая земля.

Потому что (виноват), но я Москвы
не представляю
без такого, как он, короля.

Вопросы и задания

⏩1. Какова роль в этом стихотворении понятий «король», «царственная рука», «всемогущ», выражения «Король, как король»? Как они способствуют созданию образа юного героя?

⏩⏩1. Мы уже говорили о тяге поэта к романтике. Согласны ли вы с утверждением, что образ Леньки Королева романтический? Что делает его таковым?

2. Прокомментируйте смысл финала стихотворения.

Любимая тема в творчестве Окуджавы – Москва и люди Москвы. Поэту дороги московские улицы, особенно родной Арбат.

Песенка об Арбате

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.
Пешеходы твои – люди невеликие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.
От любови твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя!

Вопросы

⏩1. Как можно понять слова автора, что Арбат – его «призвание», «религия», «отечество»?

⏩⏩1. Какими словами в стихотворении выражена любовь к родному уголку Москвы?

Евгений Александрович Евтушенко (Родился в 1932 году)

Евгений Александрович Евтушенко – человек разностороннего творческого дарования. Поэт, прозаик, критик, публицист, кинорежиссер, литературовед.

Литературная деятельность началась в 50-е годы.

Лирический герой поэзии Евтушенко – «человек искренний, жадно всматривающийся в жизнь, пытающийся разобраться в ней и в себе, стремящийся однозначно определить собственную… сущность».

Людей неинтересных в мире нет…

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как история планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самою незаметностью своей.

У каждого – свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!

Таков закон безжалостной игры,
не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.

Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать…

Вопросы и задание

⏩1. Какое значение имеет сравнение человека с миром («не люди умирают, а миры»)?

2. Отметьте средства художественной выразительности, используемые поэтом.

⏩⏩1. К чему призывает поэт в этом стихотворении? До каких тайников человеческого сердца он хочет достучаться?

Памяти Ахматовой. ***В сокращении***

Ахматова двувременной была.
О ней и плакать как-то не пристало.
Не верилось, когда она жила,
не верилось, когда ее не стало.

Она ушла, как будто бы напев
уходит в глубь темнеющего сада.
Она ушла, как будто бы навек
вернулась в Петербург из Ленинграда.

Она связала эти времена
в туманно-теневое средоточье,
и если Пушкин – солнце, то она
в поэзии пребудет белой ночью.

Над смертью и бессмертьем, вне всего,
она лежала, как бы между прочим,
не в настоящем, а поверх него,
лежала между будущим и прошлым.

И прошлое у гроба тихо шло
не вереницей дам богоугодных.
Седые челки гордо и светло
мерцали из-под шляпок старомодных.

Да, изменило время их черты,
красавиц той, когдатошней России,
Но их глаза – лампады доброты —
ни круговерть, ни мгла не загасили.

Шло будущее, слабое в плечах.
Шли мальчики. Они себя сжигали
пожаром гимназическим в очах
и в кулаках тетрадочки сжимали.

И девочки в портфельчиках своих
несли, наверно, дневники и списки.
Все те же – из блаженных и святых —
наивные российские курсистки.

И ты, распад всемирный, не убий
ту связь времен, – она еще поможет.
Ведь просто быть не может двух Россий,
как быть и двух Ахматовых не может.
……..

Ахматова превыше всех осанн
покоилась презрительно и сухо,
осознавая свой духовный сан
над самозванством и плебейством духа…

Злорадство

Легко клеймить в чужой стране бесправье,
а в собственной стране попрать права.
Злорадинкой приправленная правда,
как будто кривда ржавая крива.

Легко и просто, возмущаясь кем-то,
увидеть, словно в зеркале кривом,
в чужом глазу соломинку ракеты,
когда в своем она торчит бревном.

Считать помойки чьи-то, ямы, лужи,
и чьим-то язвам радоваться – срам.
Кому-то хуже – всем на свете хуже,
и все микробы будут в гости к нам.

Любовь неразделенная сбежала,
и любит без любви – ей хоть бы хны!
Но нет неразделенного пожара,
неразделенной с кем-нибудь войны.

Как мерзко, если при землетрясении,
при геноциде или в недород
один народ без всяких угрызений
злорадствует, что мрет другой народ.

Всегда злорадство – это антибратство,
и шар земной шатает вкривь и вкось,
когда уже глобальное злорадство
из мелкого злорадства разрослось.

А если яды в легкие нам влезли,
перед отравой общей мы равны.
Ничьей стране лекарством от болезней
не может быть болезнь другой страны.

Вопросы и задания

▶1. Какие из прочитанных стихотворений Евтушенко вам больше понравились и почему? Какие не понравились совсем? Обоснуйте свои предпочтения.

▶▶1. Какие художественные приемы, с вашей точки зрения, использованы поэтом удачно и способствуют усилению эмоционального воздействия на читателя, какие не достигают своей цели?

▶▶▶1. Какие социальные, нравственные, эстетические проблемы поднимаются в стихах Е. А. Евтушенко?

Андрей Андреевич Вознесенский (Родился в 1933 году)

Андрей Вознесенский – поэт, прозаик-эссеист, переводчик, художник. Окончил архитектурный институт. Вместе с

Е. Евтушенко, Р. Рождественским, Б. Ахмадулиной вступил на поэтическое поприще в конце 50-х – начале 60-х годов.

В. Катаев так оценивал особенности поэзии Вознесенского: «Я вижу основное качество Вознесенского – раскованность, самое ценное, что может быть в поэте. Вознесенский прошел замечательную школу современной русской, советской поэзии – смею сказать, лучшей в мире – и воспринял ее не только как талантливый ученик, но и как прямой ее продолжатель».

Неприятие всякой фальши, напыщенности, жажда выразить неподдельные переживания неотделимы в поэзии Вознесенского от ощущения его ответственности перед жизнью и людьми за судьбы поэтического слова.

Русские поэты

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.

Несется в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

Реквием

Возложите на море венки.
Есть такой человечий обычай —
в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имен, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.

Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,
безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.

На одном, как ведро, сапоги,
на другом – на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
по воде оставляли круги.

Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.

Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.

Заплетите земные цветы
над землею сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.

Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколеньям пришедшим:
«Кто живой – возложите венки».

Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.
Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.

И на ложь возложите венки,
Мы в ней гибнем, товарищ, с тобою.
Возложите венки на Свободу.
Пусть живет. Возложите венки.

Есть русская интеллигенция…

Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
поскольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пророков в своем отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
Зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербуржской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью,

для подвига рождена,
отечественная литература —
Отечественная война.

Какое призвание лестное
Служить ей, отдавши честь:
«Есть русская интеллигенция!
Есть!»

Для всех – вне звезд, вне митр, вне званий…

Для всех – вне звезд, вне митр, вне званий —
Андреем Дмитриевичем был.
Мы потеряли Первозванного,
что совестью страну святил.
Он первым произнес все заново.
Тезка крестителя Руси.
Как мало избранных меж званных…
Господи, страну спаси!

Вопросы и задания

1. Какой настрой вы почувствовали в стихотворениях Андрея Вознесенского?

2. К каким художественным средствам поэтического изображения прибегает Вознесенский, чтобы передать свои чувства и мысли?

1. Какие из прочитанных стихов произвели на вас наиболее сильное впечатление, какие вызвали отрицательное отношение? Мотивируйте свои оценки.

2. Выберите из произведений Андрея Вознесенского самостоятельно одно стихотворение и проанализируйте его. Сделайте по материалам данного анализа устное сообщение на уроке.

Подведем итоги

Курс литературы помог вам стать читателями, вы научились выбирать и оценивать книгу.

Чтение художественного произведения всегда ставит нас перед самыми различными вопросами. Вы, прочитав текст, наверняка не раз размышляли о том, что сказал вам автор. Завершая курс литературы 9 класса, подумайте над вопросами, которые предлагают вам авторы учебной хрестоматии.

Вопросы и задания

1. И. В. Гёте считал лучшим читателем того, кто «судит, наслаждаясь текстом, и наслаждается, рассуждая». Ваше мнение?

2. Какие роды литературы и жанры произведений преобладают в вашем чтении? Чем вы объясняете свой выбор?

3. Какие эпические произведения вы читали? Можно ли, отвечая на этот вопрос, говорить прежде всего о прозаических произведениях?

4. Объясните, почему «Евгений Онегин» назван «романом в стихах», и как вы понимаете слова Пушкина о том, что между романом и романом в стихах – «дьявольская разница».

5. По какой причине или совокупности причин Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой? Почему он в своих письмах иногда называл те же «Мертвые души» романом?

6. Какие признаки лирического произведения считаете вы самыми характерными, специфичными для него?

7. Какой признак лирического стихотворения кажется вам наиболее существенным: ритм, рифма, стихотворный размер? Может быть, вы назовете какие-то другие признаки?

8. Можно ли инсценировать лирическое произведение?

9. Перед вами строки стихотворений пяти размеров русского силлабо-тонического стиха. Определите размер каждой из этих

строчек:

У лукоморья дуб зеленый…
Сквозь волнистые туманы…
Славная осень! Здоровый, ядреный…
Однажды в студеную зимнюю пору…
Меж высоких хлебов затерялося…

10. К какому из родов литературы отнесете вы рекламный плакат Маяковского: «Нигде кроме как в Моссельпроме» или «Беги со всех ног покупать „Огонек“»? Нужно ли и эти краткие рекламные стихи записывать «лесенкой»? Маяковский это делал.

В чем особенность записи стихов «лесенкой»?

11. Как связаны между собой такие части драматического произведения, как акт, действие, явление, сцена, картина?

12. Внимательно прочитайте фрагменты из «Мертвых душ» Гоголя. Решите, что перед вами: сравнения или метафоры, и попробуйте доказать свою правоту: «Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями»; «Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке».

В. Катаев утверждает, что это метафоры. Прав ли он?

13. Чехов сказал, что его поразило в одном ученическом сочинении определение моря: «Море было большое». В. Катаев стремится поддержать Чехова и пишет: «И правда, вот вы увидели море: первое, что вам приходит в голову, это то, что оно большое, огромное». Согласны ли вы с мнением этих писателей или вы по-иному восприняли море при первой встрече?

14. Прочтите описание пейзажа: «А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое – на льва, третье – на ножницы». Это текст Чехова. Какие художественные приемы использованы в описании?

notes

Примечания

1

Господа (франц.).

женщиной, способной на что угодно (франц.).

на порядочных и непорядочных (франц.).

дурного вкуса (франц.).

5

«Я был очень порядочным человеком» (франц.).

6

Человек (др. – греч.).

7

«Истина в вине!» (лат.)